Алексей Юрьевич Герман, Светлана Игоревна Кармалита

## Путешествие в Кавказские горы

– Эй, – кричу я ей, – хватит… погуляла. Поехали домой! Ну, пожалуйста, миленькая… Я тебя очень прошу.

Она не слушается.

– Дура! – кричу я ей.

Зачем, зачем я это сделал?

По одной из центральных улиц современного Ленинграда неторопливо движется впряженная в телегу на дутых колесах рыжая лошадь‑тяжеловоз. В телеге рядом с пустым пластмассовым ящиком из‑под молочной посуды – перепуганный мальчик в клетчатом пальто и вязаной шапке с козырьком. Мальчик в клетчатом пальто и вязаной шапке – это я. Едут вокруг меня машины в разные стороны, объезжают троллейбусы и автобусы, идут по тротуарам пешеходы, сидят за окнами в своих квартирах разные люди и даже не подозревают, какое со мной случилось несчастье.

Меня зовут Бобка. То есть Боря. Фамилия моя Иванов. Мне шесть лет. И я врун. Мама так говорит: «Если ты не перестанешь врать, я повешу над твоей кроватью объявление: ЗДЕСЬ ЖИВЕТ ВРУН». Представляете?

Мне ужасно не повезло. Лошадь, которая сейчас везет меня неизвестно куда, – это закономерный итог. Как говорит моя мама. Дергать вожжи и кричать бесполезно. Глупая лошадь меня не слушается, только идет быстрее.

Троллейбусы, и машины, и дома с белыми от снега крышами и белыми от солнца окнами начинают искривляться и подпрыгивать… Это я плачу. Жалко себя, и маму, и лошадь жалко, и я плачу все сильнее и сильнее, и уже начинаю икать, и чувствую, что из меня пузыри какие‑то лезут. Когда я так плачу, мама говорит:

– Перестань, пожалуйста, а то я повешусь…

Сейчас она ничего не говорит, потому что ее нет, и никто не захочет повеситься из‑за моего несчастья.

Я опускаю голову и вдруг вижу рядом со своим ботинком большой белый валенок в черной галоше. Мой ботинок покачивается, и валенок покачивается. Я поднимаю голову и сразу перестаю плакать, потому что рядом со мной на телеге едет милиционер. С сумкой, пистолетом и полосатой палочкой.

Ну что ж. Это второй закономерный итог. Летела, летела и села. Как говорит моя мама. Кто бы мог подумать, что эти итоги посыплются на меня именно сегодня.

Милиционер молчит. Я тоже молчу, только икота никак не проходит.

– Мы в тюрьму едем? – наконец не выдерживаю я.

– Зачем же в тюрьму?! – удивляется милиционер. – Вы же не какой‑нибудь преступник?! Верно?

– Верно, – соглашаюсь я, – какой же я преступник? Я мальчик… А это мой конь. Конь Огонь… Так его зовут.

Когда я начинаю врать, мне не остановиться. Меня несет неведомая сила. Как говорит моя мама.

– То есть это, конечно, не мой конь. Это конь моего папы. Мой папа – старший лейтенант Иванов. Не слышали?

– Нет, – говорит, – не слышал.

– Мой папа, – говорю, – служит в Закавказском округе… Там горы и пики необыкновенной красоты. А это папин боевой конь… На котором папа прибыл к нам на побывку… Он пока меня еще не очень‑то слушается… Вывезите нас, пожалуйста, на улицу Желябова и хлестните его как следует, тогда он живо домчит меня домой. А вы могли бы вернуться на свой пост…

– Давно прибыл?

– Кто? – спрашиваю.

– Ваш папа, товарищ старший лейтенант Иванов… Со своего пика… И его боевой спутник – Конь Огонь?

– Давно, – говорю. – То есть вообще‑то недавно… Всё, вы знаете, относительно… Они тут поживут немного, и мы все поедем в Закавказский военный округ. Ведь службу надолго тоже оставлять нельзя. Мало ли что?!

– Верно, – соглашается, – мало ли что. Не курите еще?

– Нет, – говорю. – Не курю…

– А я закурю… Не возражаете? – спрашивает.

– Курите, – говорю, – пожалуйста.

Все прохожие смотрят на нас и удивляются. А некоторые даже восхищаются, видя, как я еду с милиционером и дружески беседую. Жалко только, что народ весь незнакомый и никто не подтвердит это в нашем дворе.

– И давно у вашего папаши этот замечательный конь?

– Давно, – говорю, – еще с Гражданской…

И тут понимаю, что сказал что‑то не то. Потому что милиционер охнул, с телеги соскочил, отвернулся, покашлял немного и говорит:

– Ух ты, – говорит, – не могу. Помолчи, – говорит, – мальчик… пожалей меня. Лучше посмотри… Не ваш это молочный магазин номер 88?..

Я оборачиваюсь и вижу то, что пропустил. А пропустил я то, что мы выехали из переулка прямо на нашу улицу Желябова и уже виден наш дом, в котором молочный магазин номер 88. А на тротуаре у дома стоят все наши. Стоят и смотрят на меня. Просто даже рты раскрыли.

Все, думаю, прощаться надо с товарищем милиционером. Через минуту, думаю, поздно будет. А сейчас – есть еще шанс. Один из тысячи. Как говорит моя мама.

И вежливо так говорю:

– Вообще‑то я вспомнил команды и теперь могу сам править вожжами… Большое вам спасибо и до свидания, – и протягиваю ему руку. – А вы, пожалуйста, скорее идите на свой пост… А то мало ли что может случиться?!

Тут «Бобка!» слышу, «Бобка!».

Все. Поздно. По улице, в пальто нараспашку и тапочках, летит моя мама. За ней соседка тетя Клава. За ними хромой кучер дядя Гера, за ними еще один милиционер, только незнакомый. Все бегут и кричат, и громче всех моя мама.

Я даже глаза закрыл, чтобы они исчезли, но они не исчезли, а оказались еще ближе.

Мама кричит.

– Какое счастье! – кричит. – Мальчик, мой любимый! – кричит. – Спасибо вам, товарищ милиционер, – кричит, – ну я тебя выдеру, – кричит, – как Сидорову козу…

Вряд ли, думаю, выдерет.

– Чем кричать, – говорю, – лучше познакомься, пожалуйста. Это мой новый друг, товарищ постовой милиционер… Он очень торопится на свой пост… А это моя мама… А это мои друзья Толя Ушаков и Толян Зверев. Пожалуйста, приходите к нам в гости, а мы будем приходить к вам на ваш пост…

А мама стоит у телеги, всхлипывает и все повторяет:

– Боже! Какое счастье! Какое счастье!

И верно же. Какое счастье!

Счастье‑то счастье, но я стою в углу Уже давно стою и бог знает сколько еще буду стоять.

По зеленой воде плывет кораблик под всеми парусами. То есть кораблик, конечно, никуда не плывет, а просто нарисован на наших обоях. Уж такие у нас обои. Все они из нарисованных корабликов, зеленых юнг с флажками и больших зеленых собак. Может быть, их тысячи, а может быть, миллион.

В квартире все время хлопает входная дверь, и наша соседка тетя Клава все объявляет:

– Да нашелся, нашелся…

Как будто я мог не найтись?!

И все говорят:

– Ну, слава богу!

А соседка всем отвечает:

– Не было у меня детей, и не надо… Это ж какие нервы надо иметь!

Мамины книги и тетради аккуратными стопками разложены на обеденном столе. Моя мама учится в историко‑архивном институте. Она бы давно закончила свой институт и уехала бы к папе, если бы я неожиданно не родился.

– Перестань вертеть головой. А лучше стой и думай, что ты там натворил, – мама лежит на диване с мокрым полотенцем на голове и говорит слабым голосом.

Если сильно скосить глаза, то можно видеть наш двор и не поворачивая головы. Во дворе хорошо. Все лужи замерзли, и на них лед.

Зимой всегда бывает лед, думаю я, а летом льда не бывает.

Вот машина во двор приехала, привезла сырки в молочный магазин. Это я знаю, что сырки. А с высоты нашего шестого этажа никаких сырков не видно. Вот тетя Шура, сменщица тети Клавы, бидон из‑под сметаны вынесла. Потом машина с синим крестом въехала. Въехала, остановилась, и из нее выскакивает мамина сестра тетя Марина с муфтой и портфелем. У тети Марины под красным пальто – белый халат, потому что она ветеринарный врач.

– Мама, – говорю тихо, – а там тетя Марина приехала…

А мама с дивана:

– Ах‑ах‑ах, очень хорошо…

А я:

– Знаешь что, ты сама открой и ничего ей не говори, ну там какое счастье, что я нашелся… А я спрячусь за дверь… Она войдет, а я как зарычу…

Тут мама села на диване, сорвала мокрое полотенце и как хлопнет им об пол.

– Все, – говорит, – ты нич‑ч‑чего не понял! Это ясно, как божий день… Как аукнется, так и откликнется, и сейчас ты будешь этому свидетель, – и давай доставать бумагу из ящика. – Какая тупость! Какая странная бесчувственная в тебе тупость!

– Нет, – кричу, – ты этого не сделаешь!.. – Я бегу к столу и начинаю засовывать бумагу обратно.

– Ха‑ха! – мама кричит. – Еще как сделаю… и про рубль напишу, который ты, по‑твоему, одолжил без спроса, а по‑моему, так украл… и про зоосад… и про печную трубу… Будьте покойны! И про эту лошадь, которую ты угнал… Немедленно положи бумагу вот сюда… И отпусти ящик… Ты еще драться со мной будешь… И вернись в свой угол, тебя никто не выпускал.

Тут я заплакал.

– Мамочка, – говорю, – миленькая, – не пиши, пожалуйста, всего этого! Напиши в общих выражениях… Я исправлюсь! Я тебе слово даю, могу простое мужское, могу честное… если ты все это напишешь, папа никогда не направит за мной оказию и не возьмет меня в Кавказские горы.

Мама не отвечает, садится и начинает писать. А я рыдаю и плетусь обратно в свой угол. Мама молча пишет письмо, только перышко скрипит.

Я смотрю на кораблик на обоях, и мне кажется, что он качается и плывет по зеленым волнам и ветер надувает его паруса и флажок за кормой. Я тихо поворачиваюсь и смотрю на маму. Мама пишет письмо папе, но лицо у нее совсем не сердитое. Она пишет и улыбается.

В коридоре опять бухает дверь, и тетя Клава объявляет:

– Да, нашелся, нашелся…

И тетя Марина кричит в ответ маминым голосом:

– Боже, какое счастье! Какое счастье!

А тетя Клава:

– Это ж какие нервы надо иметь… Нет, не было у меня детей…

Я опять смотрю на нашу стенку и воображаю, как все кораблики разом затрещали флажками и парусами и понеслись по пенистым волнам. Нарисованные юнги весело замахали красными флажками, нарисованные зеленые собаки залаяли, а кораблики стали стрелять из пушек и окутываться белыми круглыми дымами.

На фоне оживших на обоях корабликов, палящих их пушек, юнг, машущих флажками, и лающих собак проходят титры фильма.

– А теперь, – говорит с экрана телевизора ученый профессор Капица и смотрит на часы, – у нас еще есть время… И поэтому я расскажу вам о мальчике, который открыл новую звезду. Вернее, чуть не открыл. Но это уже частности.

Нарисованные кораблики напоследок еще раз выпаливают из пушек, и на этот раз особенно громко, белые дымы нависают над зеленой водой, зеленые юнги прячут под мышки красные сигнальные флажки и берут под козырек, приветствуя то ли мальчика, который открыл новую звезду, то ли нас всех, и возникает последний титр – название фильма.

Сегодня «мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный». Так сказала утром моя мама.

Я не дремлю. Я сижу на скамейке в нашем дворе и не смотрю влево. Зачем мне туда смотреть?! Вот пых‑пых‑пых! Трактор приехал, привез длинные синие баллоны. Баллоны похожи на синие сосиски. Дворничиха тетя Поля открыла свою форточку и кричит:

– Ты, Леш, чего?

Тракторист:

– А управдома взрывать будем…

Тетя Поля:

– Ха‑ха‑ха!

А тракторист:

– О‑хо‑хо‑хо!

Нажал на газ своего трактора – пых‑пых‑пых! – и уехал. Только синий дымок остался.

Я не смотрю влево. Зачем мне туда смотреть?! Лучше смотреть на синие баллоны, на которых образовывается иней. Слева от меня бывшая кочегарка. Там все наши меряются ростом. Осколками кирпича отмечают на стене, у кого какой рост. Мне мериться не надо. Зачем мне мериться, когда я и так знаю, что я самого маленького роста. Меньше, чем Ушан. Хотя Ушан младше меня, и я должен быть больше, а я меньше! Я встаю и, размахивая руками, иду к кочегарке. Не ждать же, когда позовут! Я сам снимаю калоши, ведь в них можно подложить бумажку или картонку. Надо мной скрипит и сыплется штукатурка. Это меня отметили кирпичом. Я напрягаю лицо, чтобы не крутить носом, я всегда кручу носом, когда расстроен, но у меня ничего не получается. Тогда я надеваю на руки калоши, встаю на четвереньки, лаю и бегу вокруг сугроба. А сам спиной жду всяких оскорблений. Но их нет. Я поднимаюсь и, еще не веря, с калошами на руках подхожу к стене.

На стене отметки красного кирпича. Вот они, отметочки! А вот и моя – самая крайняя, самая красная и жирная. Это уж Обезьян постарался. А через одну от нее еще отметочка, и эта отметочка ниже моей. Явно ниже. Тут и сомнений быть не может. Ниже, и все.

– Что же ты молчишь, Обезьян проклятый? – кричу я. – Что же ты больше не говоришь, что я лилипут самого маленького роста. Скоро я буду выше вас всех! Я буду как эта парадная! Я это знаю совершенно точно. Мне давно сказал доктор в поликлинике. Просто я молчал! – я поворачиваюсь и иду по двору. Мимо меня быстро бежит к парадной Ушан. Нос у него покраснел, шнурок на ботинке развязался и волочится за ним.

– Лилипут съел соли пуд, – кричу я и смеюсь, хотя сам чувствую, что ненатурально.

Ушан не отвечает, только втягивает голову в воротник фиолетовой фуфайки, который торчит из‑под пальто. Ушан худенький, а Толян‑Обезьян, наоборот, весь квадратный.

– Лизавета‑а‑а! Обедать!

– Сейчас!

Фр‑р‑р‑р – на окне, где открывали форточку, взлетели и сразу же опустились и завертелись, устраиваясь, голуби. Голуби тоже любят, когда солнышко.

– Бобка! Обедать!

Это уже меня.

– Сейчас.

В нашем окне на шестом этаже отражается высокое голубое небо и белые облачка. Иногда эти облака закрывают солнце, иногда открывают, и наш двор то темнеет, то светлеет. Когда солнце вспыхивает, то на снегу появляется моя тень. Приятно иметь такую большую тень. Еще недавно моя тень была гораздо короче и не доставала рукой до стены. А теперь я вырос, и тень выросла. Расти, расти, моя тень! Ну‑ка давай еще немножко! Я сгибаю и разгибаю руки, и моя тень достает то до парадной, то почти до подворотни.

Фр‑р‑р‑р – опять взлетают с подоконника голуби.

«Признайся мне в своей святой изме‑е‑е‑не», – заиграла музыка в молочном магазине. Там тоже объявили обед, и тетя Клава в белом халате вынесла пустой бидон из‑под сметаны.

– Может, ты не мальчик? Может, ты светофор? Или опять старая рана открылась? Еще с Гражданской?! – тетя Поля хватает меня в охапку, валит на скамейку и начинает щекотать. Тете Поле всегда жарко, и она всегда ходит без пальто. Ей все говорят: «Холодно, Поля». Она отвечает: «А мне жарко».

Сначала я сержусь и отбиваюсь, потом и сам начинаю хохотать.

– Бо‑о‑о‑обка, обедать!

– Сейча‑а‑ас!

– Иди, иди, Бобка! – тетя Поля отпускает меня и идет через двор к подворотне. Наш дом старинный, и подворотня старинная, покрытая белым кафелем.

– Призна‑а‑айся мне в своей свято‑о‑ой измене! – опять играет, повторяет пластинка в молочном магазине.

А из подворотни, почти с самой улицы, смотрят прямо на меня двое высоких военных в серых шинелях с ремнями, в одинаковых черных усах, с двумя одинаковыми желтыми чемоданами с железными уголками и в фуражках! В фуражках! В фуражках! Вы понимаете? А ведь у нас зима! И уж если это – не оказия от моего папы старшего лейтенанта Иванова, которая прибыла за мной с Кавказских гор, тогда уж извините. Мне бы встать, мне бы крикнуть им: «Это я! Это я, Боря Иванов! Это вы за мной приехали! Скорее, не мешкая, заходите в наш двор». Но вместо этого я почему‑то продолжаю сидеть на скамейке.

Фр‑р‑р‑р – разом взлетают голуби со всех подоконников. Фр‑р‑р‑р.

Тетя Полина неожиданно поднимает руки вверх, и вся вдруг вспыхивает. Окна, снег и сосульки, и белый кафель в подворотне – все тоже вспыхивает невозможно белым слепящим взрывом… Я даже хватаюсь рукой за лицо, а когда через секунду отрываю руку, вся подворотня забита дрожащими белыми лучами и никаких военных там нет.

– Стойте, – кричу я им. – Эй! Стойте! – и бегу через подворотню. – Остановитесь!

Из белых дрожащих лучей вдруг возникает незнакомая девочка с длинной черной собакой таксой.

– Ты откуда? – ору я на нее. – А где военные? С желтыми чемоданами?

– Отстань, дурак! Ма‑а‑а‑ма!

Тьфу. Я выскакиваю на нашу улицу Желябова. Направо смотрю – нет, только к нам трамвай заворачивает. Налево – тоже нет, только другой трамвай от нас уезжает. И вся улица от солнца белая и трясется.

Прямо на меня идет тигр. Тигр желтый в черную полоску, я бегу в коридор и приношу из большого кресла нашего кота Пушка. Когда я возвращаюсь, то тигр разделен на две части. Вместо экрана у меня дверь, и она открыта. Я закрываю дверь, и тигр соединяется.

– Смотри, Пушок, смотри…

Но Пушок не хочет смотреть на тигра, хотя тигр его родственник.

Если бы у меня была собака, ей было бы интересно смотреть на волка. Но у меня нет собаки. А вон белый медведь. Он стоит на льдине. Винторогий баран стоит на камне, а вокруг него скалы. Я подхожу к самым дверям, рассматриваю скалы и пытаюсь дотянуться до них рукой. Мама приходит из кухни, приносит стопку глаженого белья и идет через комнату, закрывая лицо от луча моего волшебного фонаря.

– Давай купим собаку, мама…

– Купим… А потом ты уедешь к папе, и что я буду с ней делать?

Я поворачиваю ручку, и на двери возникает змея, которая ползет по суку. Мама ходит взад‑вперед по комнате.

– Мама, – кричу я и хохочу, – у тебя змея на платье… Вот посмотри, посмотри, у тебя змея на платье…

Мама подходит к окну и отдергивает штору. За окном яркий день и солнце еще светит вовсю.

– Хватит сидеть в темноте… – говорит мама, – лучше посмотри, какая прелесть на улице…

Одни звонки звонят звонко, другие дребезжат, есть и такие, которые хрюкают по‑поросячьи, и их надо поворачивать. Когда я поднимаю такой трезвон, то все сначала спрашивают:

– Что, что случилось?! Ты что, мальчик, с ума сошел?!

А я всем отвечаю:

– Приготовьтесь, пожалуйста, сейчас мы будем отключать воду… – и бегу дальше.

Все мне вслед спрашивают:

– Какую воду? Зачем воду? Что за безобразие! И кто это, интересно, мы?!

Но отвечать мне некогда, квартир в нашем подъезде много, а я один. В нашу квартиру я не только звоню, но еще поворачиваюсь спиной к двери и шандарахаю в нее каблуком. Мама сразу:

– Ну ты что, Бобка, с ума сошел?

А я говорю:

– Возьми, пожалуйста, большую чашку с цветком, налей в нее воды с сиропом и дай мне… А воды больше не будет. Мы ее сейчас отключим.

Моя мама ничем от других не отличается:

– Какое безобразие! Почему это опять воды не будет?.. И кто это, интересно, мы?!

– Дашь ты мне воды или не дашь?!

Ну, в общем, бегу я с этой самой водой через двор прямо к электросварщику. Дело в том, что на сварку нельзя смотреть, потому что можно себе испортить глаза раз и навсегда. Электросварщик так и говорит:

– Что, глаза себе хочешь испортить раз и навсегда?!

А я:

– Да вы что – я же по квартирам предупреждал… – и сразу протягиваю ему чашку.

– А чашка зачем?

– Вы в прошлый раз пить хотели… Пусть уж будет…

А он:

– Слушай, может, тебе щиток подойдет? Тоже хорошая вещь.

Я молчу. Зачем мне щиток?

– Ладно, – сдается электросварщик, – веди своего Носача…

– Не Носача, – говорю, – а Ушана. У нас два Толи. Толя Ушаков – он Ушан, понимаете? И Толя Зверев… Толя Зверев… Обезьян… Потому что ведь обезьяна – зверь… – объяснил и бегом во второй двор.

Там под всеми окнами второго этажа торчат каменные морды. Одни свирепые с клыками, другие грустные без клыков. Наша дворничиха тетя Поля, например, живет под лицом с клыками. Хотя это ничего не обозначает. Ушан сидит под грустной мордой на крыше железного гаража и ест большое яблоко. Он не просто ест яблоко, он растет посредством моего приспособления. К его ногам привязана сетка‑авоська, а в ней белый силикатный кирпич. Кирпич тяжелый, он тянет Ушана за ноги, и Ушан растет.

– Ты зачем на узел завязал? – Ушан всегда недоволен. – Надо было на бантик… Мне же самому не отвязать…

– Все неправильно, – кричу я снизу и лезу к Ушану на гараж, – если бы ты весь висел, то рос бы от шеи, а так что… одни ноги?!

– А если ноги отпадут… Они же не железные, они же на жилах держатся…

Я ложусь на крышу гаража, зубами развязываю узел на сетке‑авоське, и мы по очереди прыгаем в сугроб.

– Знаешь, Бобка, – Ушан на бегу рассматривает свои ноги, – так не видно, а по штанам, кажется, уже немного вырос. Отдай ты мне, Бобка, свое приспособление… тебе врачи сказали, ты и так вырастешь, а мне они ничего не говорят. Здравствуйте, – это он уже электросварщику.

Маска электросварщика огромная. В ней темно‑синее стекло, и она пахнет пламенем, от которого все на свете плавится. На маске брезентовые плечи, она надевается на меня до самого пояса. Это, конечно, неправильно, и маски так не носят. Зато можно себе представить, что это батискаф, в котором я опустился на дно океана, или что у меня такой дом на одного человека. Он стоит посреди снегов, а вокруг волки, и я их не боюсь. Я медленно переставляю ноги и иду по двору, стекло на маске темно‑синее, почти черное, и все вокруг делается тоже черным. То есть не черным, а вроде сине‑черным или черно‑синим. Снег черно‑синий, и окна черно‑синие, и тетя Полина вытряхивает черно‑синюю скатерть. Вот два высоких моряка стоят в подворотне у списка жильцов, и чемоданы у них в руках черно‑синие. А вот у крана во втором дворе очередь жильцов с кастрюльками и бидончиками. Воды отсюда не видно, но, наверное, она черно‑синяя, как чернила.

Прямо в стекло всовывается Ушан. Он без шапки.

– Вроде немного вырос, – объявляет он. – Если вот так руку держать, то точно вырос. А если так, то не точно…

Что это, думаю, за моряки такие?.. И кого это они ищут в нашем дворе? И откуда это они, думаю, из каких дальних странствий к нам приплыли? И вдруг понимаю, что никакие они не моряки, потому что никакие они не черные, что это из‑за стекол у них шинели черные, а на самом деле они могут быть серые или даже желтые, а чемоданы коричневые… И это вполне может быть оказия. Та, что утром исчезла… Они меня ищут и не могут найти… Ведь иначе что же им еще делать в нашем дворе?!

– Снимайте, – кричу, – с меня маску немедленно…

– Ты что? – Ушан мне прямо в маску кричит. – У него электрод отпаялся…

– Не твое дело, – кричу, – снимай с меня маску, дурак!

Ведь маска не держится у меня на плечах, как у взрослого сварщика. Я пролез в нее больше, чем по локти, по самый пояс, и не могу снять ее сам… Я бегаю взад‑вперед, трясу головой и плечами, кричу на Ушана, потом становлюсь на колени и только так выбираюсь из маски.

Сначала я вижу только какие‑то круги. Попробуйте вылезти из темной маски на яркое солнце! А потом вижу, то есть как раз не вижу, нет никаких военных в подворотне. Нету, и все. Двор опять белый и дерево, вот оно стоит, и даже веточками не качает… А военных нет. Как не было. Опять пропали, и все.

– Военные, – кричу, – куда делись? Куда пошли?

– Какие еще военные? – сварщик удивляется, взял маску и давай ее внутри нюхать. Нюхает и головой качает.

– Поля, – кричит, – здесь военные ходили?

– Да вы что, – кричу, – двое стояли с желтыми чемоданами, – повернулся и на улицу.

Бум‑трах‑бах‑тарарах! Я стою на нашей улице. Рядом со мной в сугроб влетела зеленая «Волга». Ее переднее колесо свисает с сугроба и медленно крутится у самого моего носа. И с него – не с носа, конечно, а с колеса – падают к моим ногам комочки снега. Раз – упал комочек, два – упал… Потом дверца «Волги» открылась, из нее вылез водитель в пушистой шапке и побежал вокруг своей машины.

Я ему говорю:

– Здравствуйте, – не в том, конечно, смысле, что я с ним здороваюсь, а просто других слов как‑то не нашлось. А промолчать было бы совсем невежливо. А из заднего окна незнакомая пожилая гражданка мне злобно говорит:

– На меня вылилось три литра меду… Даже очки в меду… Ну‑ка, одна нога здесь, другая там… Принеси мне воды и полотенце…

Ну откуда, откуда возьму я ей сейчас полотенце?

Только что на нашей улице совсем не было народу. Ну буквально никого не было. А теперь отовсюду бегут люди. Все шумят, кричат и спрашивают: «Что, что случилось?» Я бы сейчас тоже бежал и спрашивал, если бы все это случилось не со мной.

Мы идем домой. Впереди тетя Полина с тазиком и полотенцем, за ней шофер в мохнатой шапке, за ним та, что облилась медом, за той, что облилась медом, собака такса, которой очень нравится мед, за собакой таксой незнакомая девочка, за девочкой толстая почтальонша тетя Настя, она ведет за руку меня, а позади всех Ушан несет кирпич в сетке и мою чашку с цветком, в которой я приносил воду электросварщику.

Я бы ушел из нашего двора и жил бы в лесу, но сейчас зима, и снега очень глубокие, и я даже не смогу войти в этот лес. Или хорошо бы рванул мощный взрыв! Или бы в наш двор опустился с неба парашютист. Но в синем небе нет никакого парашютиста. Да и что ему делать в нашем дворе?

Фр‑р‑р‑р – взлетают голуби. Дверь нашей парадной открывается, и мы вступаем в темноту.

Румяному юнге хорошо. Он может забраться на свой корабль, нарисованный на наших обоях, выпалить на прощание из пушки и уплыть в далекие жаркие страны. А я никуда не могу уплыть, потому что я опять стою в углу и сегодня уж точно буду стоять очень долго.

Что же мне делать, если моя правда не похожа на правду?!

Я достаю из кармана гвоздик и прицарапываю юнге длинные седые усы. А к его кораблику большую толстую цепь. Не больно‑то поплывешь с такой цепью. Раньше я всегда стоял в том углу, где сейчас телевизор. И у всех юнг за телевизором тоже процарапаны усы, а их корабли привязаны к берегу толстыми цепями.

– Значит, двое военных превратились в кошку или собаку, тут ты понял, что они ищут именно тебя, и помчался на улицу прямо под машину?.. – мама лежит на диване с мокрым полотенцем на голове и говорит слабым голосом, разделяя слова.

– Не в кошку, а в девочку с собакой таксой из Пушкина… И не превратились, а просто сначала были военные с желтыми чемоданами и в фуражках… Хотя сейчас зима… – начинаю я объяснять, может, уже в тридцатый раз.

– Между прочим, тебе никто не разрешил поворачиваться…

– Мне надо, – говорю я после паузы.

– Ты только что был.

– А мне надо, – мне никуда не надо. Я говорю, что мне надо в том смысле, что моя правда не похожа на правду, но она – правда.

– А я говорю, что ты только что был, – голос у мамы крепнет. Он крепнет в том смысле, что я врун. И что не так страшна ошибка, как боязнь признать ее.

– А мне надо.

– Ты только что был…

– А мне надо, – кричу я.

– Ты только что был, – кричит мама. – Ты дождешься, что я тебя наконец выдеру…

– А мне надо, надо… и у меня ноги устали.

– Можешь взять стул и сидеть ровно пять минут, – кричит мама со своего дивана. – Но не кресло, а стул…

Я перетаскиваю в свой угол большой клетчатый стул и сажусь. Мама надевает тапочки и начинает быстро ходить по комнате взад и вперед.

– Больше ты ничего не хочешь сказать?!

Я опять достаю из кармана гвоздик и втыкаю его в нос кораблика.

– Перестань драть обои.

– Я не деру.

– Дерешь.

– Не деру.

– Дерешь.

– Не деру.

– Все, – кричит мама и забирает у меня клетчатый стул. – Ваше время кончилось.

Все мои игрушки и даже новый велосипед подняты на шкаф. Всерьез и надолго.

– А теперь можешь обернуться, – слышу я за спиной злобный голос мамы.

Я медленно оборачиваюсь и долго смотрю, еще не веря, что может случиться такая ужасная несправедливость. Над моей кроватью приколот развернутый тетрадный лист в клеточку, а на нем толстым маминым фломастером написано объявление. Из трех слов. Одно наверху и два пониже. Я знаю, что это за слова. Это мама написала объявление: ЗДЕСЬ ЖИВЕТ ВРУН. И этот врун – я. Красные буквы маминого фломастера, белые цапли на коврике над моей кроватью, мамина голова, обмотанная белым полотенцем, – начинают сливаться в большое розовое пятно.

– Они были, были, – бормочу я. – Были и пропали.

Под молнией моей куртки начинает что‑то ворочаться, как будто ко мне внутрь кто‑то забрался и из‑за него стало нечем дышать.

– Ты же не видела. Тебя там не было. Тебя же там не было. Ты сама врунья. У тебя вырастут уши и нос, как у Пиноккио. Я папе напишу… Он тебе покажет! – я бегу к кровати, чтобы залезть на нее и сдернуть объявление. Я плачу, давлюсь слюной, начинаю кашлять. Я кашляю все громче. Я кашляю, топочу ногами, опять кашляю и не могу остановиться, и опять кричу.

– Боба, Бобинька!..

Я сижу на ковре, а мама в тапочках стоит на моей кровати и спиной прижимает объявление.

– Боба, Бобинька, я его сейчас сниму… Вот видишь, я его сняла и рву… Так… А сейчас так… – она прыгает с кровати и садится рядом со мной на ковер. Я бросаюсь к ней, мы горячо обнимаемся и начинаем плакать вместе.

– Сначала они превратились в девочку и таксу… – заикаюсь я, – эта девочка приехала из Пушкина… То есть они растворились, и она возникла… а потом они были синие, то есть черные… и я подумал, что они моряки… никто их не видит… ни один человек их не видит, а я их вижу…

– Ну и что, ну и что? Это воображение, – шепчет мне в самое ухо мама, – у тебя просто разыгралось воображение, – она обнимает меня еще крепче и целует длинными поцелуями, это она проверяет у меня температуру.

– Нету у меня температуры, – я начинаю выбираться из маминых рук, – они же были, были… Они же приходили… Просто я был в маске. Они меня не видели, потому что я был в маске… Я честное слово даю, – я снова начинаю кашлять.

– Успокойся, – вскакивает мама, – немедленно успокойся!

– Воображение у воображал, – кашляю я.

– Нет, – мама подбегает к нашему телевизору и бьет по нему ладонью так, что с него падает будильник и начинает звонить на полу. – А великие путешественники?.. Разве Миклухо‑Маклай воображала? Или генерал Пржевальский?! Мы же вместе с тобой смотрели, когда ученый профессор Капица рассказывал про миражи… Про то, как путешественники, измученные путешествиями, вдруг видят в жарких пустынях полноводные реки, или оазисы с пальмами, или верблюдов… А никаких верблюдов нет. Просто им очень хочется, чтобы они были… И они очень устали… И возникает оптический обман. А ты очень хочешь, чтобы приехала оказия от папы, и ты не спал после обеда… Спал или не спал? Нет, ты отвечай, спал или не спал?

Конечно, я не спал после обеда. Конечно, я хочу, чтобы от папы приехала оказия, и, конечно, от этого во мне образовались миражи. Какая умная у меня мама. Я так и говорю:

– Какая ты умная у меня, мама.

Если лежать на нашем ковре и смотреть снизу в окно, то виден кусок дома напротив. Там горят желтые окна. Вот еще одно окно зажглось… И еще… Люди приходят с работы и зажигают свет. Или ходят из комнаты в комнату. Мимо окон идет снег.

– Лучше возьми такси, а то у меня опять Варфоломеевская ночь… Да, да, да…

Через открытую дверь я вижу наш коридор и маму, которая разговаривает по телефону с тетей Мариной.

– Какая еще Варфоломеевская ночь, – кричу я, – когда только вечер!

В желтом окне напротив появляется человек и смотрит на наши окна. Он, наверное, сейчас подумал про нас, а я подумал про него.

– Мама, – кричу я, – значит, если я переутомился и хочу пить, может образоваться миражный компот?!

– Миражный ремень может образоваться, – отвечает мама от своего телефона. Она сунула кулак в карман вязаной кофты и оттягивает ее вниз.

– Отбой воздушной тревоги! – это приходит наша соседка Клавдия Михална. Она, кряхтя, залезает на табуретку и начинает снимать со шкафа мои арестованные игрушки и мой велосипед.

– Давайте петь, тетя Клава, – предлагаю я. – Я еще громче могу петь, чем в прошлый раз, если захочу.

И мы начинаем петь песню. Про французского императора Наполеона, который в сером сюртуке стоит на стене нашего Кремля и понимает, что все для него пропало.

Шумел, горел пожар московский,

Дым расстилался по реке,

А на стене Кремля высокой

Стоял он в сером сюртуке, –

поем мы с Клавдией Михалной. Я больше люблю эту половину песни, а Клавдия Михална – другую.

На улице холодно, там идет снег. А мы поем.

Судьба играет человеком,

Она изменчива всегда.

То вознесет его высоко,

То бросит в бездну без труда.

Как хорошо!

Варфоломеевская она или не Варфоломеевская, эта ночь, а сон мне приснился самый распрекрасный. Мне снилось, что я плыву в нашей ванне, вода зеленая и прозрачная. Я плыву легко, и вокруг меня вспыхивают оранжевые рыбы, как абажуры в доме напротив. Мама сидит на краю и вяжет… Я уплываю от нее, потому что наша ванна огромная, как море… мама машет мне платком и говорит:

– Вот уж не думала, Бобка, что ты умеешь так замечательно плавать… прямо как подводная лодка, и еще лучше.

Потом улыбается, наклоняется над своим вязаньем и шепчет:

– Спать, спать, спать, песик мой родной.

А я ей отвечаю:

– Как же мне спать, когда я плыву?.. Ты же видишь?!

Вдруг чей‑то мужской голос смеется и говорит:

– Вот жизнь… он плывет, оказывается… Прямо в цирк ходить не надо…

А мама:

– Спать, спать, спать… Мойте руки и к столу, граждане миражи… Чем богаты, тем и рады…

Тут я нырнул, и зеленая вода стала темнеть, темнеть, а потом яркая лампочка над нашей ванной потухла.

Я проснулся рано, потому что мне было надо. Мама спала у себя на диване, накрывшись с головой. Я не люблю ночью бегать по нашему коридору. Коридор большой, высокий и длинный. Днем там уютно, а ночью мне всегда кажется, что кто‑то стоит за зеркалом трюмо. Поэтому я предпочитаю, чтобы мама постояла в дверях, пока я сбегаю туда и обратно. Мама крепко спала и просыпаться не собиралась. Я немного покашлял и поскрипел кроватью, но это не помогло. За окном темно, но тетя Полина уже шкрябает во дворе железной лопатой. В доме напротив горит всего одно окно, и от этого кажется, что я лежу не в кровати, а плыву где‑нибудь в океане. Я слез на пол, надел тапочки и выглянул в коридор. Тихо в коридоре, полутемно и холодно, только счетчик гудит и где‑то далеко на лестнице кот мяучит.

Бу‑бу‑бу‑бу – все в коридоре затряслось, замигало, и опять тишина. Бу‑бу‑бу‑бу – так включается наш холодильник.

На столе в нашей комнате вместо маминых учебников синее блюдо, которое мне нельзя трогать, полное каких‑то мелких груш, копченая рыбина с отъеденным боком и бидон, с которым я хожу за молоком. Но в бидоне не молоко, а большие красные цветы. Если бы я задумался, откуда груши, рыбина и цветы, то сразу бы все понял. И тогда бы ничего не случилось. Но я не задумался, потому что мне было надо. Я потоптался на пороге и тихо говорю:

– Мама, может, ты встанешь и постоишь… в порядке исключения… А то мне опять кажется, что там кто‑то стоит…

Но мама по‑прежнему крепко спит и просыпаться не собирается. Тогда я взял швабру, зажмурился и быстро побежал. Шлеп‑шлеп‑шлеп – шлепают мои тапочки по пустому коридору. Дзянк‑дзянк‑дзянк – дзянкает зеркало в старом трюмо. Я бегу и не смотрю в ту сторону. Вот уже высокая белая дверь совсем передо мной. Я хватаюсь за ручку, но тут не выдерживаю и оборачиваюсь. Зачем, зачем я оборачиваюсь?!

Я оборачиваюсь, и ледяной ветер ударяет в меня из‑за трюмо, так что я весь приподнимаюсь на носки. Вся кожа и волосы на мне приподнимаются. Я выбрасываю вперед швабру и хочу крикнуть «кыш!» и топнуть ногой или просто повернуться и запереться в уборной, но ноги мои не шевелятся, и через горло не проскакивают никакие звуки, кроме какого‑то писка. А от вешалки у трюмо на меня смотрит вчерашний мираж. В черных усах, огромный, как дом, и с папиросой. А‑а‑а! Я смотрю на него, а он смотрит на меня. И он открывает рот. Бу‑бу‑бу‑бу – раздается у него изо рта. Все вокруг мигает, и даже зеркало дребезжит. Если бы не это бу‑бу‑бу‑бу у него изо рта, я бы, может, еще выдержал. Но тут ноги сами подняли меня над полом, руки сами бросили швабру под ноги миражу, рот сам открылся и заорал, и я, как ракета, понесся по коридору. Я пролетел в нашу комнату, бросился к маме под одеяло и почему‑то схватил ее за ногу. Но это была не мамина нога, это была совершенно чужая, волосатая и огромная, как у слона, нога. О‑у‑у‑у! – взвыл я, и в ту же секунду из‑под маминого одеяла, из‑под простыни в цветочки, медленно вылез мираж… Тот же самый! Из коридора!

И он же появился в дверях и что‑то крикнул. Что – я не слышал.

И он же сидел на кровати. В маминых простынях.

И от него же торчала нога из‑под одеяла. И большой палец У этой ноги был величиной с наш телевизор.

Что тут со мной было, я даже не помню.

То есть помню, но вспоминать мне не хочется. Если бы я подумал. Но я не думал. Говорят, что я посинел, затопал ногами, страшно заорал «мама!», промчался между ногами второго миража, который хотел схватить меня за рубашку, пролетел на кухню, захлопнул дверь и заперся на гладильную доску. Этого я совсем не помню. Я только помню с того времени, когда стою уже на окне кухни со скалкой, форточка открыта, и я страшно кричу в эту форточку.

– Тетя Полина, – страшно кричу я. – Скорее зовите со своего поста постового милиционера, который меня на лошади спас… Он мой друг… – это я нарочно для миражей кричу, – и бегите скорее к нам в квартиру… К нам миражи проникли и рвутся в комнату.

А миражи уже у кухни сапогами топают, двери дергают и подхалимскими голосами уговаривают, чтобы я их пустил на кухню.

– Да ты что, Борис, – уговаривают. – Да как тебе не стыдно?! Да какой же ты солдат?!

А я им кричу:

– Я не солдат, я мальчик… Убирайтесь к своему профессору Капице… Куда вы мою маму дели?..

А во дворе тетя Полина свистит на весь дом в свой свисток и тоже кричит:

– Боря, перво‑наперво никому не открывай дверь… Я уже бегу, Боря, – и по всему дому напротив одно за другим окна зажигаются. Прямо в минуту весь дом зажегся. Тут миражи перестают дверь дергать и начинают говорить на разные голоса. Один голос говорит:

– Мы сослуживцы твоего отца. Я младший лейтенант Чистович, а он старший лейтенант Чистович. Мы вас искали по памяти… Мы ведь топографы. Мы у вас восемь лет назад были… Ты тогда еще вороной в Африке летал… А хотели найти по памяти… А мама ушла на базар за луком для яичницы…

А второй голос:

– Вот глупость какая?! Может, ему удостоверение под дверь подсунуть?

На лестнице тетя Поля свистит. Я кричу:

– Куда вы мою маму девали?! Ответьте! Если вы не миражи, зачем раздваиваетесь?!

Тут они за дверью принялись для маскировки хохотать. Они хохочут, я на подоконнике стою со скалкой, тетя Поля на лестнице все громче свистит, а во двор жильцы выскакивают.

– Мы же Чистовичи, – один мираж хохочет, – я его отец, а он мой сын… ты же должен знать…

– А твоя мама побежала за луком для яичницы… Ты на нас в щель посмотри, а мы отойдем…

И тут голос Клавдии Михалны из‑за двери как закричит:

– Ты что безобразничаешь, паршивый мальчишка! К тебе гости через всю страну ехали… от родного отца гостинцы везли… А ты их на кухню не пускаешь? Знать тебя после этого не хочу!

Тут я все понял. Прямо меня молния озарила, как говорит моя мама. Спрыгнул я с подоконника, снял с ручки гладильную доску, распахнул дверь и говорю:

– Здравствуйте, товарищи военные, – говорю. – Товарищ старший лейтенант и товарищ младший лейтенант, а я вас ждал, ждал.

Тут тетя Клава в халате подошла и отобрала у меня скалку.

Утром приехавшие военные, мама и тетя Клава пили на кухне крепкий чай с бубликами и громко смеялись. А я сидел в комнате и рисовал картину цветными карандашами «Тактика», которые прислал мне папа. Когда я дорисовал картину, то понес ее на кухню.

– Что же это такое? – спросила тетя Клава и громко засмеялась.

– Трамвай, – сказал младший лейтенант Иван Николаевич Чистович и надел очки. – Вот вагоны, а вот дуга. Верно?

– Деревня, а вокруг горы, – сказал старший лейтенант Николай Иванович Чистович и разгрыз бублик.

– Ничего вы не понимаете, – сказала мама и посадила меня к себе на колени, – это не деревня и не трамвай. Это поезд, в который вы скоро сядете и поедете от меня в Далекие Кавказские Горы… Правда, Бобка? А это ваш вагон…

– Точно, – сказал я и взял со стола бублик. – Это наш вагон. А это почтовый, который возит письма. А это не горы, а дым. По‑моему, очень понятно нарисовано.

Тут все засмеялись, а мама стала меня безумно целовать.

В этот же день мне купили красные английские штаны. То, что из этого вырастет несчастье, я сразу не определил. Хотя они мне не понравились.

Случилось это так. Днем задул северный ветер, заклубил в подворотне снег, и меня не взяли в магазин. Потому что в магазинах жарко и при выходе сразу может продуть. А ведь нам надо ехать. Все отправились в магазин, где Николай Иванович купил ковровую дорожку, Иван Николаевич – целую связку тортов, тетя Клава – ситечко на чайник, а мама – эти красные английские штаны.

– Знатные штаны, – сказал Николай Иванович.

– Только‑только, – сказала тетя Клава.

– С этими штанами у меня уже опустились руки, – сказала мама, – ну и повезло же нам, Бобка. Надо было купить две пары. Главное, я рада, что тебе есть в чем ехать к папе.

Тут Николай Иванович выстрелил из бутылки шампанского, и все выпили тост за мои новые штаны, за дружбу, за мир и за моего папу. И стали танцевать. Николай Иванович с мамой, Иван Николаевич с тетей Клавой. Причем Иван Николаевич танцевал очень смешно, и я смеялся до упаду.

Потом Иван Николаевич надел на гребенку бумажку и заиграл вальс. Если смотреть от окна, то Иван Николаевич и Николай Иванович совершенно не похожи. А если от двери или сбоку, то просто одно лицо. Но вообще‑то ничего странного в этом нет. Ведь все говорят, что я тоже похож на папу. Только мой папа – офицер, а я еще нет.

В разгар нашего веселья прибежал Ушан. Я угостил его яблоком, лимонадом и показал новые штаны.

– Ну как, Ушан?

– Да что‑то они уж больно красные, Бобка… и пуговицы какие‑то клетчатые… Ты бы попросил их перекрасить… У меня вот бабушка перекрасила рубашку, и получилась как новая.

Я уже понимал, что Ушан прав и добра с этими штанами не будет. Просто я не сказал себе об этом решительно. Но на Ушана рассердился.

– Ты, Ушан, принеси мое приспособление, – строго говорю я, – а то мама хватится сетку‑авоську и будет меня ругать. На вот тебе еще яблоко и уходи. Нечего тебе здесь делать. Потому что у нас в квартире сейчас много оружия и секретных документов.

Ушан сразу все понял.

– Да ты что, – говорит, – Бобка, да я ничего… очень хорошие штаны.

А мама из кухни:

– А ты что, Толя, уже уходишь?

А я:

– Его бабушка ждет.

Ушан потоптался немного и говорит в сторону товарищей Чистовичей:

– А нельзя их попросить спуститься во двор и выстрелить один или два раза…

Тут я его совсем добил.

– Некоторым, – говорю, – можно попросить, а некоторым никак. Во дворе, конечно, стрелять нельзя, потому что у наших пистолетов очень мощные пули. Но мы, наверно, завтра поедем стрелять в лесопарк…

Тут Ушан совсем скис и говорит фальшивым голосом:

– Да нет, – говорит, – неплохие штаны… Пожалуй, не надо их перекрашивать… В общем‑то даже хорошие штаны, – потоптался еще и ушел.

А я отозвал маму в сторону и говорю:

– Как ты думаешь, – говорю, – они не очень красные, эти штаны? Может, их лучше перекрасить в неяркий цвет?

Но мама подхватила меня, потанцевала со мной немного и говорит:

– Эти штаны мы перекрасим только через мой труп. Никого не слушай. Это замечательные мужские штаны. Кстати, все английские солдаты ходят именно в таких штанах. Так что можно считать, что это даже военные штаны. Никого не слушай, это у тебя лев.

Я знаю историю про льва. Это очень смешная история.

– Мама, ты расскажи всем, – прошу я, – а то всем непонятно.

– Это было давным‑давно, – смеется мама, – в доисторические времена… Мне был год, моей сестре Марине столько, сколько Бобке сейчас, Юра и ты, Коля, жили где‑то в Туркестанском округе и даже не подозревали, что я есть на свете…

– А я летал вороной в Африке, – вмешиваюсь я.

Все засмеялись, а мама сказала:

– Не перебивай. Так вот. Моя мама работала тогда в зоосаде, и там погибал львенок… Какая‑то инфекция… В общем, а мы уезжали на лето в Ярославскую область… Глушь, там и света не было, и мама кого‑то уговорила и взяла этого львенка с собой… там она отпаивала его молоком. Мы с ним ходили на речку и даже на почту, но, конечно, никому не говорили, что это лев. Мама выдумала, что это какая‑то редкая собака, что ее привезли из Германии, ну и еще что‑то, и все привыкли, что собака и собака… Только жалели ее, что она не умеет лаять. И когда мы уезжали, все пришли провожать нас, и пастух пришел, пьяненький… Отозвал маму в сторону и тихо так говорит ей на ухо: «Ты, Ксюша, никому не верь… Это у тебя лев».

С тех пор мы в семье так и говорим. Мама папе, я Юре, а теперь уже и Бобке.

– Так что никого, Бобка, не слушай. Это у тебя лев.

Тут в дверь позвонили, и все пошли встречать тетю Марину.

Ночью я проснулся, в коридоре горела лампочка, и свет падал на мамину тахту, на которой в разные стороны головами крепко спали оба товарища Чистовича. И от того, что света было мало, они опять были похожи друг на друга. Только лицо у Ивана Николаевича во сне было сердитое, а Николай Иванович во сне улыбался.

Тихо вошла мама в халате и села ко мне на кровать.

– Ты что не спишь, Бобка? – спрашивает.

– А ты что не спишь? – это я у нее спрашиваю.

– Я посуду мою. Знаешь, сколько накопилось…

– Мама, – спрашиваю, – а почему он во сне хихикает?

А мама:

– Он не хихикает, он улыбается. Ему, наверно, снится что‑то приятное. Когда ты родился, Коля с Дальнего Востока, он тогда там служил, прилетел к нам в Тюмень и привез детскую кроватку.

– Что‑то я его не помню, – говорю.

А мама:

– Ладно, спи, дурачок. Положи на ухо подушку и спи, – и ушла из комнаты.

В доме напротив горит одно окно, там, наверно, забыли выключить свет. На стуле около двери висят, расставив ноги, новые красные штаны с клетчатыми пуговицами. Вдруг они подпрыгнули и убежали в коридор. А я этому не удивился.

Чего я боялся, то и получилось. Даже еще хуже.

Ну зачем надо было покупать эти штаны?!

Во дворе на солнце они стали еще краснее.

Как только я утром вышел, ко мне сразу подошел Толян‑Обезьян.

– Что это у тебя за штаны? – говорит. – В красных штанах ходит только Иван‑дурак. Ты разве не знаешь?

Я ему отвечаю то, что заранее приготовил:

– Не знаешь, Толян, не болтай. Это самые настоящие английские военные штаны. Тут есть даже такая штрипочка для ножа… Мне их товарищи Чистовичи привезли из одной военной части, – ну и расстегиваю пальто, показываю всем штрипочку. У меня на эту штрипочку была надежда.

Толян эту штрипочку осмотрел, потом всем показал, потом как закричит:

– Три ха‑ха! Это для подтяжек! Это все знают. Ты любую книжку открой, и там Иван‑дурак в красных штанах!

И тут все как с ума сошли.

– А‑а‑а‑а! – кричат. – Иван‑дурак объявился! В красных штанах! Иван‑дурак! Красные штаны!

– Честное слово, – объясняю я. – Это английские военные штаны. Ведь если бы штрипочка была для подтяжек, она бы и сзади была. Ведь подтяжка на плече держится. А эта – для ножа… Вы посмотрите… – прошу я. – Для ножа… Вы посмотрите…

Но никто меня не слушает.

Не буду, не буду обращать внимания. Если не буду обращать внимание, им станет скучно. Вот лед буду каблуком колоть, пузыри из‑подо льда выпускать. Давайте, пузыри, вылезайте!

В любой момент во двор могут вернуться товарищи Чистовичи! Вернуться и все это услышать!

Тут как на грех тетя Поля выходит.

– Ой! Бобка! – она хлопает себя по бокам руками. – Вот это у тебя штаны. Всем штанам штаны! К таким штанам царевну заводить надо!

– Это же английские военные штаны! Вот даже штрипочка для ножа есть… Вы разве не знаете?

Она меня по голове погладила и говорит:

– Безобразники эти англичане, Бобка. А кто, – говорит, – Бобку будет обижать, граждане‑товарищи, тот пусть ко мне насчет тачки даже не подходит… – и пошла себе.

Все притихли, пока она не ушла. А как только ушла, совсем взбесились. Совершенно им скучно не делается, наоборот, мне становится невмоготу.

Вскакиваю я и бегу во второй двор, в проход между железными гаражами.

Вот надо мной висит моя сетка‑авоська. В ней кирпич, вот к ней привязаны ноги Ушана. А вот и сам Ушан хмурится на солнышке.

– Что же ты сидишь, Ушан? – я уже чуть не плачу. – Ты же вчера хвалил мои штаны, а сегодня молчишь… Ты‑то ведь знаешь, что это за штаны…

– Уж больно они красные, Бобка… Я же сразу сказал…

Все. Я залезаю на сугроб, трясущимися руками развязываю сетку‑авоську, низко наклоняю голову, чтобы ни на кого не смотреть, и с авоськой и кирпичом бегу домой.

Уж не знаю, как там в Англии делают штаны, только к ним ничего не пристает. Трешься и трешься этими штанами об штукатурку, вспотеешь весь, посмотришь – почти ничего. Шлепнешь ладонью – пыль поднимается, и опять все чистое. Нитки на них как железные. Кран парового отопления и то их не берет. Не может, и все. Я бегу по лестнице на наш шестой этаж и смотрю на свои ноги. Там, где темно, на моих ногах штаны как штаны. А у окон, на лестничных пролетах, они так вспыхивают, что просто жить не хочется. Добежал до нашей двери, шандарахнул в нее пяткой несколько раз, мама двери открывает.

– Что с тобой, Бобка? И почему у тебя кирпичи в сумке?

– Все, – говорю, – я эти штаны снимаю, – прохожу в коридор, сажусь в кресло и начинаю снимать штаны.

А мама:

– Да ты что, Бобка, дивный же цвет…

Я:

– Ничего себе – дивный… если он такой дивный, ходи в них сама на здоровье…

Тут мама прошлась взад‑вперед по коридору, похлопала себя по карману да и говорит:

– Если тебя во дворе дразнят, то лучший способ, поверь мне, не обращать внимания. Им скучно станет, они и перестанут.

Ну что она, ну что она такое говорит!

Проклятая штанина не слезает с ботинка. Чтобы ее снять, надо было сначала снять ботинок.

– Ты любую картинку посмотри, – я придерживаю рукой штаны и мелкими шажками бегу в комнату, – только цветную… Это же у Ивана‑дурака красные штаны… Красные или не красные? Красные или не красные?

– Сначала сними пальто, потом ботинки и ходи в чем хочешь. Мне только неприятно, Борис, что ты такая тряпка… Извини, но у меня чайник кипит.

– Почему это я тряпка?! Ты любую картинку посмотри. Надо думать, что покупаешь…

А мама:

– Во‑первых, не груби. А во‑вторых, подумай. Ведь Иван‑дурак – вовсе не дурак. Ведь он самый умный из братьев. И вообще самый умный в сказках. И храбрый. Это его братья – дураки. А Иван настоящий герой, добрый, умный и благородный. И он всегда побеждает зло. Верно?

Тут я задумался, повспоминал и говорю:

– Верно‑то верно, но только…

А мама:

– Что только? Никаких только быть не может. Ты должен не штаны переодевать, а пойти и объяснить своим товарищам… И уверяю тебя, им самим станет неловко… Вот увидишь. Верно?

– Верно, – говорю. Какая же умная у меня мама! Встал, застегнул штаны и говорю:

– Ну я тогда пошел?!

А мама улыбнулась и сказала:

– Иди.

И я пошел.

Тра‑та‑та! Летят из‑под моих ног ступеньки. Трах! Это распахивается передо мной дверь парадной. Фр‑р‑р‑р! Взлетают с козырька голуби.

Вот мой двор. Вот мои товарищи. Они катят по двору тачку. То есть сейчас они ее не катят, а останавливаются и смотрят на меня. А я смотрю на них.

– Эй, – кричу я им, – идите сюда. – И сам иду им навстречу. – У меня есть важное сообщение. Вот оно, мое сообщение: Иван‑дурак на самом деле вовсе не дурак. Вы просто невнимательно слушали. На самом деле дураки первый брат и второй. А Иван‑дурак очень умный человек. Он всем помогает – раз! Потом он храбрый, добрый и благородный. Так что можете называть меня Иван‑дурак. Я не отрекаюсь.

Сам чувствую, что не так получается. Как‑то у мамы лучше выходило. Ну да все равно, сказал и сказал. И нечего тут. Я поворачиваюсь и неторопливо иду к скамейке. И вдруг слышу сзади себя.

– Бобка – Иван‑дурак! Бобка – Иван‑дурак!

Сначала тихо, а потом все громче и громче. Как будто не было моего сообщения.

– Вы сами дураки, – оборачиваюсь я. – Вы слушали невнимательно.

Я сижу на спинке скамейки, которая торчит из‑под снега, и сам себя уговариваю:

– Хорошо, – уговариваю я сам себя. – Очень даже хорошо, что Иван‑дурак! Просто даже замечательно! Этим надо гордиться! Пусть себе.

А они тачку вокруг меня возят.

– Бобка – Иван‑дурак!

– Иван‑дурак, ты в какой квартире живешь?

Или:

– Иван‑дурак, сколько времени?

И тачку тоже не просто возят, а возят в том смысле, что я Иван‑дурак.

Погода великолепная. С крыш капли капают. Воробьи громко чирикают. И крики о том, что я Иван‑дурак, разносятся по всему нашему двору. А может, даже по всей нашей улице. И во мне где‑то в животе вдруг начинают разговаривать два голоса. Один толстый голос, и он медленно говорит:

– И хорошо, и хорошо… И пусть.

А второй то‑о‑оненький и быстро повторяет:

– Ой, нехорошо! Ой, нехорошо! Ой, стыдно! Счас товарищи Чистовичи придут… Что бу‑у‑у‑дет?!

– Я горжусь, горжусь, – шепчу я.

Я терплю еще немного, потом встаю, иду прямо через снег и плюю в Толяна. Мой плевок не долетает и шлепается на снег. Теперь все затихают и ждут, когда Толян накопит ответную слюну Я тоже коплю. Чем больше слюны, тем лучше. Мы выдавливаем нашу слюну из щек, от чего уши у нас шевелятся, мы топчемся на снегу и сопим.

Тьфу. Это Толян.

Тьфу. Это я.

Тьфу. Тьфу.

Тьфу. Это Толян.

Тьфу. Это я.

Тьфу.

Тьфу.

Тьфу.

Тьфу. Кто‑то больно хватает меня за ухо. Это тетя Настя, наш почтальон. Она толстая, как бегемот, и когда сердится, то краснеет.

На каждом боку у нее по большой сумке, набитой газетами.

– Ты зачем в Толика плюешься? – краснеет тетя Настя.

– Он первый начал. Отпустите меня… Вы права не имеете…

– Ну и врун же ты, Бобка, – тетя Настя отпускает мое ухо, – будто я не видела…

Тетя Настя – бегемот, топает через двор, сумки с газетами качаются у нее на боках. Ухо у меня болит. Я прижимаю его ладонью и тоже иду через двор.

На крыше гаража между мной и Ушаном стоит черная клетчатая сумка с бантиками на ручках, а в сумке кирпич. Это новое приспособление Ушана. Оно удобнее моего. Мы сидим, молчим и кидаем снежки в кусок стекла, который блестит на солнце. Я не знаю, о чем думает Ушан. Мне грустно.

Мы сидим на кухне у Ушана и мечтаем. Двери закрыты, здесь тепло, газ гудит, и немного хочется спать. Мама говорит, что на огонь и воду, с тех пор как мы были первобытными людьми, можно смотреть часами. Раньше я с ней не был согласен, а сейчас согласен. Газ в горелке синий, а таз белый. Вода в тазу бурлит, мои штаны в нем медленно крутятся, то одна их часть выплывает на поверхность, то другая.

– Хорошо, чтобы цвет тоже получился дивный, – мечтаю я. – Какой‑нибудь другой, но тоже дивный… Как ты думаешь?

– Смотри, штрипка для ножа выплыла, – говорит Ушан. – Интересно, отчего это они крутятся?

– Их пузырьки крутят… Сначала один пузырек поддает, потом другой.

– Наверное, пузырьки, – соглашается Ушан. Он подливает в таз уксус и размешивает линейкой.

– Ты не много льешь уксуса, Ушан? – тревожусь я.

– Наоборот, еще мало. Бабушка больше льет. А то вся твоя краска в первый же день обсыплется… А уксус закрепляет… – он садится на корточки и достает из шкафа новые пакетики. – Вот еще небесно‑голубой есть. И красный есть. Но он не годится…

– Красный не годится, – соглашаюсь я, – сыпь цвет неба.

Ушан залезает на табуретку, высыпает в таз еще голубой краски и опять размешивает линейкой.

– Ловись, ловись, рыбка, большая и маленькая, – говорит он. – Не бойся, Бобка. Чего, чего… я вообще‑то не сильный, но руки у меня золотые… Спроси у бабушки.

Я с уважением смотрю на золотые руки Ушана, которые размешивают краску линейкой.

– Видал? – Ушан показывает мне линейку, ставшую синей.

И тут мы оба подпрыгиваем, потому что на холодильнике громко звонит будильник. Вдвоем мы волокем фыркающий таз и, отворачивая лица от горячего, пахнущего уксусом пара, сливаем в раковину воду. Раздается громкий шлепок. Это в раковину свалились мои штаны. Через густой, еще поднимающийся из раковины пар я вглядываюсь, и вот уже видны лежащие на белом дне мои новые английские штаны. Они черные. И это даже не штаны, а так… Какая‑то куча, и все. Куча, и все. Я медленно вытягиваю перед собой руку, осторожно дотрагиваюсь до них указательным пальцем.

– Это… – говорю я. – Чего это они черные?

– Ха! – неуверенно отвечает Ушан и тыкает в штаны своей линейкой. Он тыкает в них линейкой, и из них сразу же выливается синее.

– Ты что? – вдруг кричит он. – Они же мокрые… Что ты меня путаешь. Я прямо даже испугался… Уж чего, чего… А руки у меня в дедушку… Спроси у бабушки… – он выставляет передо мной перепачканные краской руки с обгрызанными ногтями… – Понял?!

– Конечно, понял, – радостно соглашаюсь я. – Я же ничего такого не сказал. Конечно, они мокрые.

Ушан пускает на штаны холодную воду и немного посыпает их сверху небесной краской. На всякий случай. Потом мы вдвоем выжимаем штаны, забираемся на табуретку, развешиваем их над газом, отходим и долго смотрим на них. Чем больше я смотрю, тем больше почему‑то у меня слабеют ноги. На Ушана я тоже почему‑то смотреть не решаюсь.

– Полпакета синей краски, полбутылки уксуса, полведра воды… – шепчет рядом со мной Ушан, – погоди‑ка…

– Что – погоди‑ка, – почему‑то шепчу я.

– Что ты меня путаешь, – вдруг кричит Ушан. – Вот посмотри, – он тычет перепачканным пальцем в рукав моей курточки. Я смотрю и от радости просто не верю своим глазам. Рукав моей куртки синий. Тут никакого сомнения даже нет, синий, и все. Даже можно сказать, голубой.

– Покрасилась, – кричит Ушан.

– Покрасилась, – кричу я.

Ведь если куртка покрасилась, значит, и штаны покрасились тоже. Просто они мокрые.

– Очень, очень красивый цвет, – говорю я Ушану.

– У нас такая занавеска, – кричит Ушан.

– А у мамы такое пальто, – кричу я.

– А у нас такая занавеска… Ну точь‑в‑точь…

И мы бежим в комнату бабушки смотреть занавеску.

Если бы я не задержался, рассматривая эту занавеску, может быть, все бы обошлось. Но я задержался. И когда я услышал из коридора голос Ушана, то сразу почувствовал, что стряслось что‑то плохое. Ушан стоял у кухни, закрывал спиною дверь и тряс головой. И в полутьме коридора глаза его были большие и страшные.

– Не ходи туда, Бобка, – зашептал он и дверь загораживает. – Не ходи.

Я оттолкнул его и влетел в кухню. Сначала я даже не понял. Не понял, понимаете? Газ уже не горел. Его Ушан выключил, и ничего не горело, а над плитой, там, где раньше сохли мои штаны, висело что‑то маленькое, съежившееся, все в черных пятнах… и тикало… Я только потом сообразил, что это тикает будильник на холодильнике. И из всего этого валил не то дым, не то пар. И тут я понял, что это мои новые английские штаны. Потом из них вдруг что‑то плюх! – и выпало на плиту.

– Это что? – тихо спросил я Ушана.

– Пуговицы потекли, – прошептал Ушан. – Такие были в клетку, помнишь? – он подошел к плите, ткнул в эту каплю обгоревшей спичкой, и она потянулась как конфета‑тянучка.

– Тю, – сказал он печально и вдруг забегал по кухне взад‑вперед. – Надо было на батарее. А так все было правильно… Очень все хорошо даже было…

– Что было хорошо, дурак! – закричал я и стал стягивать свои несчастные маленькие штаны с веревки. – Что было хорошо? Что, что мне теперь делать? – и я заплакал. – Руки золотые! Руки золотые! – выкрикивал я. – Я в дедушку! Я в бабушку! Что, вот что мне теперь делать?!

– Полбутылки уксуса, полпакетика краски, пол‑ве‑едра воды… Все, все было правильно… – Ушан протянул ко мне руки, сжал их в кулачки, тоже заплакал и стал размазывать ими слезы. И слезы у него на лице были дивного голубого цвета.

Надеть штаны нечего и думать. И поэтому Ушан на кухне заворачивает их в газету, а я в отчаянии бегаю взад‑вперед по коридору.

– Бантик‑то зачем? Зачем бантик! Бантик‑то зачем! Дурак!..

А он:

– Ну, все‑таки…

Выглянул на лестницу, там никого нет. Ну, мы и пошли. Я в тени стараюсь идти, потому что я в нижних рейтузах, а Ушану что?! Он пакет несет со штанами. И пакет этот у Ушана такой нарядный получился, ну просто как торт. Вроде мы идем его дарить. На лестнице я, честно сказать, совсем развалился.

– Может, – говорю, – мне сказать, что у меня живот ужасно болит?..

А Ушан:

– Ну поставят градусник, и все. Тем более у тебя бабушки нет.

– Причем здесь бабушка, – говорю.

– При том. Меня хотели выдрать, а бабушка как закричит: «Если вы его тронете, ищите меня в Фонтанке». И я теперь маме говорю: «Если ты меня только тронешь, ищи бабушку в Фонтанке». Нет уж, Бобка… Лучше девочки с авторучкой ничего не придумаешь. Ты сразу скажешь, что все видели… Твоя мама пойдет ко мне… не к Обезьяну же она через двор побежит… А я тебя не выдам. Я же твой друг в первую очередь. Все, – говорит, – я здесь за углом буду.

Он так говорит, потому что наша лестница кончается и до нашего шестого этажа, где находится наша дверь, остался всего один пролет. И идти через этот пролет мне так не хочется. Посидели мы, помолчали – тихо на лестнице. Только кот мяучит, чтоб его впустили. Хорошо быть котом, думаю я. Сейчас его впустят, ляжет где‑нибудь на кушетку, и никто его не будет ругать. Тут и Ушан говорит:

– Хорошо быть котом, правда? Лови себе мышей, и нет никакой разницы, какого ты роста. Маленькому коту даже лучше прятаться, чем большому. Верно?

Тут внизу, в парадной, дверь хлопнула. Кто‑то стал по нашей лестнице подниматься, а ведь я в рейтузах. Взял я у Ушана пакет и пошел. Пошел и позвонил. Я всегда стучу в дверь каблуком, а на этот раз я позвонил, и голос мамы из‑за двери сразу приветливо спросил:

– Это вы, Лиза?

Лиза – это соседка, которая ходит к нам звонить по телефону.

– Это не Лиза, – говорю, – это я.

Мама сразу:

– Ты что это звонишь? Что случилось? – и дверь открывает. В дверях‑то у нас полутемно, и что я в рейтузах, не видно. А пакет с ленточкой видно.

Мама:

– Ой, Бобка, что это у тебя?

Я говорю:

– Штаны.

Мама:

– Какие еще штаны? – и бантик развязывает. Она бантик развязывает, я на Ушана оборачиваюсь, а Ушан мне из‑за угла знаки показывает. Давай быстрей, а то поздно будет. Я быстро так начинаю:

– Понимаешь, к нам во дворе подошла одна девочка из нашего двора… С авторучкой… и хотела что‑то записать… И стряхнула эту авторучку… прямо мне на штаны… Ну как я тогда на стенку, помнишь? Эта девочка очень извинялась и подарила мне пакетик краски. Ну вот…

Тут мама пристально так на меня смотрит, отчего я замолкаю, дергает тесемочку, газета медленно, кружась опадает, и в маминых руках остаются мои английские штаны. Тут и тетя Клава из кухни выходит. И зажигает свет.

– Ой, – говорит, – мне нехорошо! Ой, дайте мне воды! Что же ты с ними сделал, несчастный?!

– Понимаете… В наш двор зашла девчонка с авторучкой и хотела что‑то записать… – Дальше я ничего говорить не могу. В горле у меня что‑то сжимается. Ушан на лестнице выплясывает какие‑то знаки, которых я все равно понять не могу.

– Эта девочка… Эта девочка… – повторяю я, – все видели…

– Не трогайте их, Клавдия Михална, – мама держит мои штаны двумя пальцами. – Они в какой‑то краске и клеются. Иди, пожалуйста, в комнату, Борис. Ты трус и жалкий человек.

– Почему я трус, – бормочу я, – эта девочка…

– Ты еще и врун, – качает головой мама. – Ведь ты знал, что ты прав, знал, что Иван‑дурак – хороший человек… Но стоило тебя немножко подразнить, как ты струсил и отступил. Вот что самое неприятное…

– Вы что, их взрывали, что ли? – спрашивает с кухни Клавдия Михална.

– Штаны, конечно, жалко, – перебивает мама. – Ну да не в штанах счастье. Денег наживем, новые купим. Ужасно другое. Ты не герой, ты жалкий человек.

– Они и к мылу клеются, – охает из кухни Клавдия Михална. – Я их «Дарьей» засыплю, ладно, Женя?

Я плетусь в нашу комнату и сажусь на стул.

Вжик‑вжик, – сгребает во дворе снег тетя Полина. Льется вода на кухне. Весь наш обеденный стол уставлен коробками и свертками. А на нашем большом простом телевизоре стоят два ручных цветных. Сейчас все три телевизора выключены и не работают. И с пустых холодных экранов на меня смотрят три печальных лопоухих мальчика. На одно лицо. Три печальных мальчика – это я.

– Почему же я отступил? – грубо спрашиваю я у вошедшей мамы. – Я хотел их красиво покрасить в цвет неба… Разве не может быть Иван‑дурак в голубых штанах?!

– Нет, – говорит мама, – не может. То есть, наверное, может, но не в этом дело.

– А я вообще не хочу быть Иваном‑дураком, – кричу я. – Побыл! Спасибо большое. Я тебя не просил… Витязем на распутье или Иваном‑царевичем, пожалуйста. А Иваном‑дураком не хочу. Над ним все смеются… Я же не виноват, что над ним все смеются…

Мама вдруг начинает быстро ходить по комнате взад‑вперед, и я с удивлением вижу, что она волнуется, хочет что‑то сказать, но у нее не получается. И она растерянна, моя мама.

– Ты сама не знаешь, – кричу я, – ты сама запуталась.

– Нет, – резко говорит в ответ мама и хлопает ладошкой по столу так, что все покупки товарищей Чистовичей начинают подрагивать, а некоторые звенеть. – Мне трудно тебе объяснить, потому что ты еще маленький, но ты должен поверить мне на слово и запомнить раз и навсегда. Что если ты прав и ты знаешь, что ты прав… А люди, которые не знают или просто глупые, не соглашаются с тобой или смеются над тобой… то ты ни за что не должен отступать… ни отступать, ни пугаться, ни приспосабливаться. Ты запомнил это, Бобка?!

– Запомнил, – говорю я. – Чего же тут запомнить. Только это очень трудно, – во мне вдруг возникает ответное волнение, и я встаю. – Оказывается, не все люди – братья, понимаешь?

– Да, – говорит мама. – Пока еще не все люди братья. И поэтому ради истины одни попирают смерть ногами, а другие сразу перекрашивают себе штаны, и все. Понимаешь?

– Конечно, – говорю, – понимаю, мама. А что такое смерть?

Тут мама остановилась, посмотрела на меня, засмеялась, включила все три телевизора и говорит:

– Ах Бобка ты мой Бобка! Какой же ты еще маленький! Ты, мой дорогой сыночек! Что же я буду завтра без тебя делать…

Мы вдвоем в комнате. Я и Николай Иванович.

Я лежу в кровати и диктую письмо.

– Дорогая моя мама! – диктую я. – Я еду и еду, и сколько только еще буду ехать. И все на юг, на юг. Ехать очень весело. Я без тебя не скучаю, и ты не скучай… А лучше пей чай! – я смеюсь, как ловко вышло в конце, просто как стихи. И повторяю с удовольствием. – И ты не скучай… А лучше пей чай. Твой сын Боб Иванов. По‑моему, хорошо получилось?!

– В том‑то и дело, что хорошо, – Николай Иванович прячет письмо в нагрудный карман кителя, – мама придет с вокзала одна, грустная, и вдруг звонок. Что такое? А это ей принесли письмо. Только ты не проболтайся, Бобка.

– Николай Иванович, – прошу я, – не забирайте билеты, пусть они здесь лежат.

Николай Иванович выходит. Билеты лежат на тумбочке, на них падает свет от настольной лампы. Голубые картонки и розовые прямоугольнички. Мы их отдадим проводнику, и он откроет перед нами двери вагона. На стул прыгает Пушок, жмурится от лампы и урчит. Тень от Пушка на стене огромная, как от его родственника льва.

Сегодня мы уезжаем, и это совершенно точно. Все дни, пока мы никуда не уезжали, погода стояла как погода. То хорошая, то плохая. Сегодня, как назло, с утра сильный мороз, и во дворе никого. Днем ожидается потепление и снегопад, но какой толк в этом потеплении, если мы уже уедем и никто во дворе не увидит, как я сажусь в машину вместе с товарищами Чистовичами. Конечно, я нервничаю и бегу то к одному окну, то к другому смотреть на градусники. Но ртуть градусников будто прилипла внутри. Окна заросли длинными белыми саблями, прохожие на улице не останавливаются, а идут быстро. Одни в одну сторону, другие в другую. На другой стороне улицы стоит лошадь, на которой я ездил. Ее накрыли для тепла мешками.

Дома всем не до меня. Я бегу за Иваном Николаевичем по коридору.

– Вы не могли бы, – я стараюсь просить как можно жалобнее, – когда мы будем садиться в машину, выстрелить вверх один или два раза?

– Не мог бы, Бобка, – сразу расстраивается Иван Николаевич и начинает вертеть головой, разыскивая маму. – Из чего же я выстрелю, когда мое оружие находится у меня в части, в железном ящике…

– А в чемодане? – намекаю я.

– Давай лучше громко крикнем, Бобка, – предлагает Иван Николаевич. – «Эй!» крикнем или «А‑уу!..».

Я смотрю на него, даже не понимая, всерьез он говорит или издевается. Иван Николаевич краснеет. Он всегда краснеет, когда говорит что‑то не то, потом достает из кармана ножичек в виде женской туфельки на высоком каблуке и отрезает кусок шпагата от целой связки тортов.

Мама и тетя Клава на кухне, растянули на столе мое пальто и пришивают к рукавам варежки на резинках. Одна к одному рукаву, другая – к другому. Как только мы сядем в вагон, я их сразу оторву.

Николай Иванович сидит рядом с ними. Он в одном носке, другой надет на лампочку, и он его штопает.

Еще немного – и они погубят, может быть, лучший день в моей жизни. Я бегу в комнату, хватаю свой собранный рюкзак военного типа, с окошечком, где написаны моя фамилия, имя и адрес. Потом хватаю бинокль, проскальзываю на лестницу и там уже с грохотом лечу на второй этаж к квартире Ушана. Сначала я звоню, а потом не выдерживаю, поворачиваюсь спиной и стучу в дверь валенком.

– Иду, иду, – дверь открывает бабушка Ушана.

– Здравствуйте извините, – задыхаясь от бега, говорю я. – Я сейчас уезжаю в Далекие Кавказские горы которые в районе Черного моря к своему папе со мной поедет один старший лейтенант и один младший лейтенант можете проверить и возможно мы сейчас будем стрелять во дворе один или два раза отпустите пожалуйста Толю меня проводить он замотает лицо шарфом.

– Тр‑р‑рр‑р! – перебивает меня бабушка. – Ты не мальчик, ты мотоцикл… Толи нет, его повезли к доктору… у него на щиколотках красные отечные полосы, которые не проходят… Ты не знаешь случайно, что это такое? – Толина бабушка вдруг нагибается и впивается в меня глазами.

Глаза у нее под очками огромные и ярко‑желтые, как у кота.

Перевисел, холодею я.

– Передайте Толе привет и наилучшие пожелания. Я бы к вам зашел, но мне немножко некогда тут с вами разговаривать, – я поворачиваюсь и мчусь наверх, спиной чувствуя, что бабушка, как кот, смотрит мне вслед своими желтыми глазами. – Уф!..

Мы стоим в нашем дворе около зеленой машины такси и громко кричим на счет «три‑четыре».

– Три‑четыре, – командует мама и смеется.

– Эге‑ге‑й! – кричим мы хором, и пар валит у нас изо рта.

– Эге‑ге‑й!!! Мы уезжаем! – кричу я один. – Посмотрите на нас в окошки. Эге‑гей!..

Все окна нашего дома вспыхивают на морозном солнце, и не видно, есть там люди или нет. Только в окне Ушана вдруг открывается форточка, и бабушка‑кот машет нам белым платочком.

– Ладно, – говорю я всем на всякий случай. – Давайте садиться, а то можем опоздать.

Мы все садимся в машину, и сквозь облако пара я вижу в заднее окно, как убегает от меня наш знакомый милый двор, белая подворотня в белом кафеле, улица и сугроб со шрамом, в который влетела из‑за меня машина «Волга». Вот тетя Полина торопится куда‑то по тротуару и даже не знает, что мы уезжаем мимо нее на Московский вокзал, а потом дальше, мимо Черного моря к далеким и высоким снежным горам.

Прощай, наш двор! Прощай, тетя Полина! Прощайте, все!

Если бы я знал, что всего через несколько часов я буду, рыдая, возвращаться домой по этой улице, а рядом со мной будет идти и держать меня за руку высокий и суровый постовой милиционер со станции Ручьи…

Но сейчас я ничего не знаю об этом, и новенькая «ГАЗ‑24» зеленого цвета везет меня на Московский вокзал, и лед хрустит под ее колесами. Вот мы выехали на Невский проспект, и впереди нас огромный желтый автобус, и заднее стекло у него огромное. За этим задним стеклом стоят люди, смотрят на меня и о чем‑то думают. А я смотрю на них и думаю о том, что скоро увижу горы и пики необыкновенной высоты.

Тетя Марина приехала прямо на вокзал. На ней было новое пальто с золотыми пуговицами, но она почему‑то всем сказала, что оно старое.

– Какое счастье ехать в таком поезде и останавливаться на всех маленьких станциях, – так сказала тетя Марина.

– Зимой на Кавказ ездят одни сумасшедшие… И не забудьте, пожалуйста, что алоэ лежит в коробке «Три богатыря» под майками… – так сказала мама.

– Наш поезд скорый. Мы будем останавливаться только на самых больших станциях, – сказал Николай Иванович, – и алоэ нам не понадобится. Верно, Бобка?

– Надо держать голову в холоде, тело в голоде, а ноги в тепле, – сказал Иван Николаевич, посмотрел на маму, сразу покраснел и закашлялся, потому что лицо у мамы стало напряженным.

А между тем туча, из которой пойдет снег, все приближалась. Когда пойдет снег, то все случится. Обязательно надо придумать такое приспособление, чтобы знать, что с тобой случится. Тогда можно будет сделать так, что будет случаться только хорошее и отличное. А плохое или похуже не будет вовсе.

Но мы ничего не знали и шли смотреть тепловоз.

– Тепловозы совершеннее, чем паровозы, хотя это тоже вчерашний день, – сказал мне Николай Иванович, – на сегодняшний день наиболее совершенный двигатель у электрички.

В одном из вагонов уезжали перспективные спортсмены‑лыжники. Так про них сказала тетя Марина. Их провожал духовой оркестр, который весело играл «Мы едем, едем, едем в далекие края». И многие подпевали.

Наш тепловоз мне очень понравился. Он был огромный, красивый, и внутри у него рокотал и гремел двигатель. В общем, это был замечательный тепловоз. И сразу стало понятно, что такой тепловоз живо домчит нас до Кавказских гор. И встречные ветры и туманы сразу разлетятся, когда он толкнет их своей могучей грудью.

В это время к нашему перрону с другой стороны стал приближаться состав, который прибывал с Кавказских гор. Мы в Кавказские, а он из Кавказских. Уж так устроены вокзалы. Ведь на вокзале одни рельсы кончаются. Те, что с юга. А другие начинаются. Те, что на юг. Прибывший тепловоз был страшный, одноглазый, весь обметенный серыми снегами, и с его стальной груди свисали толстые желтые сосульки.

– Не знаю, не знаю, – сказала мама, – лично мне паровозы всегда были симпатичнее… И потом, у него в моторе что‑то звякает… не стоит ли сказать машинисту?

Тут тетя Марина, которая грела своим дыханием мамины ладони, перестала их греть, засмеялась и говорит:

– Женюра, Женюра, как же тебе не стыдно?! Ну должен ребенок видеть мир или не должен?!

А мама:

– Вот заведешь своего, приедем мы с тобой провожать его в какие‑нибудь Гималаи, тут я тебя и спрошу, должен ребенок видеть мир или не должен.

Тетя Марина сказала, что это тут ни при чем и вообще она никому не позволит вторгаться, и быстро пошла от нас по перрону. И все побежали за ней. А я пошел следом.

А между тем туча нашла на небо.

Все сразу потемнело. Я шел по платформе, а мимо меня ехали, замедляясь и тормозя, белые от снега вагоны с Кавказских гор. Из дверей высовывались и рассматривали меня смешные, усатые люди. И тогда я поднял свой бинокль, и все случилось. Сначала через бинокль я увидел очень близко женскую шляпу, потом проводника, который надевал на вагон чистый белый номер. Потом он отодвинулся, и вместо него я вдруг увидел ученого профессора Капицу, того самого, который выступает по телевизору в программе «Очевидное‑невероятное» и недавно рассказывал про мальчика, который открыл новую звезду, вернее, чуть не открыл. Убрал бинокль – нет никакого профессора. Вылезают на перрон люди – кто с усами, кто рукой машет, один пирожок ест. Подношу бинокль обратно – опять профессор Капица, только в меховой шапке. Просто можно сойти с ума. Я даже вспотел.

– Товарищ железнодорожник, – говорю я проводнику из нашего поезда, – посмотрите скорее в бинокль. Там же ученый профессор Капица приехал.

А железнодорожник:

– Ты лучше бригадира посмотри в свой бинокль, потому что это не уголь, а даже стесняюсь сказать что, – взял с тележки ящичек угля и ушел в вагон.

Ученого профессора Капицу встречала тетенька, в пальто, которое мама обязательно когда‑нибудь себе купит, и с цветком в целлофане. Они сразу быстро пошагали. У ученого профессора Капицы был маленький клетчатый чемодан, очевидно с новыми научными данными. Только благодаря этому яркому чемодану я потерял их. Потому что ведь народу на перроне становилось все больше и больше. Ученый профессор Капица на ходу что‑то все время сообщал тетеньке с цветком, и перебивать его было невежливо. Поэтому я ждал, когда заговорит тетенька. И когда она заговорила, подергал его за чемодан. Тут он оборачивается, видит меня, и дальше, хотите верьте, хотите нет, улыбается мне широко и от всей души. Не так, как в телевизоре. Там он улыбается всегда только одной верхней губой, а тут он улыбается сразу двумя губами и говорит:

– Ух ты, как же это я… Кто же это такой взрослый?! Здравствуй, Боря, ну и здорово ты вырос!

Вот это да, думаю. Вот это профессор так профессор. Все знает. И что Боря, знает. И что вырос, знает. А профессор Капица садится на корточки, открывает свой клетчатый чемоданчик, достает оттуда коробочку желтого цвета. И торжественно мне ее вручает. Причем вы поймите, он мне ее вручает, а люди, которые идут мимо нас, на это смотрят, и многие восхищаются. Потому что думают, что уж если ученый профессор Капица что‑нибудь вручает какому‑нибудь мальчику, то это не просто мальчик. Этот момент встречи был самым интересным. Дальше все стало немного непонятным. Сначала ученый профессор Капица посмотрел на тетеньку с цветком, стал вдруг улыбаться только одной губой и говорит:

– Погоди‑ка, Боря, ты – Боря или не Боря?

– Конечно же, Боря, – отвечаю.

Тут он как‑то странно посмотрел на коробочку и опять на тетеньку А тетенька так уставилась на меня через свои очки, будто вообще сроду не видела мальчиков, и говорит ученому профессору Капице:

– Какой ты невнимательный, Петя, я же тебе писала, что у Бори коклюш…

Тут уж я удивился:

– Не коклюш, а железки, – говорю, – и они уже прошли… Что вы путаете?

А тетенька:

– Вот это да, – говорит, – это я‑то путаю?! Петя, это не мальчик, это пришелец… и обрати внимание, стоило ему появиться, как пошел снег.

Тут я страшно захохотал: не потому, что мне стало смешно, а потому, что понял, что это такая шутка под названием «розыгрыш».

– Во‑первых, – говорю, – спасибо за подарок. Во‑вторых, я не пришелец, а приедец, – это я тоже шучу. Ведь я не пришел, а приехал на такси.

Пока я говорю, профессор Капица берет из моих рук желтую коробочку, в которую мне давно очень хотелось посмотреть, но в которую я не смотрел, потому что сразу открывать подарки неприлично. Ведь может создаться впечатление, что тебе интересен только подарок, а не тот, кто тебе его дарит, и его к тебе чувство. Так вот, забрал он у меня эту коробочку, покрутил немного, потом они с тетенькой друг другу улыбнулись, и сунул мне этот подарок в карман. Тут я его достал и открыл. В коробке был индеец. В цветных перьях, цветном плаще, с поднятым вверх топором, которым он рубил полено. И этот индеец был здорово похож на Николая Ивановича Чистовича.

Трах! Индеец Чистович взмахнул тяжелым топором и рубанул им по дереву так, что полетели щепки. То есть ничего он не рубанул. Просто я вдруг вспомнил про маму, Чистовичей и поезд.

– До свидания, до свидания, – забормотал я, засовывая коробочку обратно в карман, – как бы мне не опоздать… Не опоздать, – повернулся и помчался.

Я что есть мочи бегу по подземному переходу к лестнице на платформу. Над лестницей на платформу небо, из которого валит густой снег. Я поднимаюсь по лестнице, выскакиваю на перрон и застываю на месте. Моего поезда нет. Вот перрон, вот скамейки на перроне, вот ларек, в котором перспективные лыжники только что покупали пиво и лимонад, – только закрытый. Все есть, только нет моего поезда и моего шестого вагона. А там, где стоял мой поезд и мой шестой вагон, и красный тепловоз, – на путях длинный черный прямоугольник. И на этот длинный черный прямоугольник тихо ложатся снежинки. Может быть, я сплю? Может быть, я внезапно заснул и мне снится страшный ужасный сон? И сейчас я проснусь и все будет хорошо. Где‑то возле горла во мне внезапно возникает тоненький противный голос:

– Вот это да, вот это да, вот это да… Ой‑е‑е‑ей!

А второй, толстый голос где‑то в животе вдруг как завоет:

– Что бу‑у‑у‑удет?!

А может, это не голос, может быть, я слышу гудок моего уходящего поезда? Из‑за снежной завесы. Ну конечно, конечно, это гудит мой поезд, иначе быть не может. Я подпрыгиваю на месте, по‑моему, так даже ногами перебираю в воздухе и бегу по перрону, падаю, вскакиваю и бегу вдоль путей. Ведь пути идут на юг, на юг! Вокруг меня густой снег. Повсюду на разные голоса кричит радио, где‑то тонкими голосами переговариваются тепловозы. Вдруг мне кажется, что я вижу последний вагон. Значит, в поезде уже заметили, что меня нет, и машинист нажал на тормоза. Ведь не могут же они просто так уехать без меня, и тогда я кричу:

– Это я! Стойте! Остановитесь! Я бегу! – и лицо у меня мокрое, но не от слез, а от снега, который на нем тает. И бинокль колотит меня по ногам. Вон он, вагон, вон он. Вот он стоит, в нем и свет зажгли.

– Это я! Стойте! Остановитесь! Я бегу!

Но никто не спешит мне навстречу. И когда я подбегаю ближе, то вижу высокую платформу и зеленую квадратную электричку. А у ступенек на платформу сидит занесенная снегом огромная собака и смотрит на меня желтыми неподвижными глазами. Может, собака, хотя, вполне возможно, и волк. Я смотрю и смотрю на нее, а она смотрит на меня. Я испугался, но не очень, потому что хуже, чем со мной случилось, случиться не может.

– Можно я пройду? – спрашиваю я у собаки. – А то я и так отстал от поезда. Мне очень нужно его догнать.

Собака кивнула и тихо сказала:

– Проходи.

Я прохожу мимо собаки, а может, волка, шагаю в последний вагон, а когда выглядываю, то собаки‑волка уже нет. Двери сами собой с грохотом закрываются, электричка взвизгивает, рвется и мчится вперед догонять мой поезд двести тридцать шестой, мой вагон номер шесть и мое двадцать первое место, на котором сейчас вместо меня едет только мой рюкзак военно‑спортивного типа и медовая коврижка в коробке, которую так любит мой папа – старший лейтенант Иванов.

Если бы я знал, что мой рюкзак и медовая коврижка уже никуда не едут, а стоят у военного коменданта Московского вокзала, а по перронам бегают оба товарища Чистовича, и мама, и тетя Марина, они хватают за руки всех встречных и поперечных и спрашивают, не видели ли они маленького мальчика в клетчатом пальто и с биноклем на ремешке. А репродукторы на вокзале уже громко выкрикивают, чтобы я, Боря Иванов, немедленно обратился к дежурному или любому постовому милиционеру, или вообще к любому гражданину. А другие репродукторы на путях предупреждают всех машинистов тепловозов и электровозов быть внимательными и осторожными, потому что на путях может оказаться маленький мальчик Боря Иванов шести лет.

Но я не знал об этом. Не знал. Не знал.

За окнами электрички проносятся различные окрестности. В этих окрестностях ходят, ездят, разговаривают различные люди. И никто из них не подозревает, какое со мной случилось несчастье. Счастливая девочка тащит большой бидон! Счастливая тетенька вышла на крыльцо и выбросила в снег счастливую кошку! И в электричке все люди счастливые тоже. Еще одна счастливая тетенька шевелит губами и считает деньги в маленьком кошельке. Рядом бабушка загадывает внучке загадки по книжке. Они сидят у белого окна, и сами они белые от света.

– Лети, спеши, моя электричка! – шепчу я. – Догони мой поезд! Что тебе стоит, если твой двигатель совершеннее! Я выскочу из твоих дверей, вбегу в двери своего вагона, попрошу прощения у товарищей Чистовичей за опоздание, сяду на свое двадцать первое место, и счастливее меня не будет мальчика на свете. А потом мы выйдем на станции и дадим самую срочную телеграмму моей маме, чтобы она не волновалась. Чего же волноваться, если ей принесут телеграмму. – И когда я так шепчу, то колеса сразу начинают стучать быстрее и веселее. И в их стуке совершенно ясно слышится «догоним, обгоним, догоним, обгоним».

– Сидит дед, в сто шуб одет, – через очки читает бабушка, – кто его раздевает, тот слезы проливает…

Эти загадки нельзя отгадать, если не знать заранее отгадки.

– Лук, – тихо говорю я, потому что знаю отгадки.

– Лук, – громко говорит девочка.

Бабушка снимает очки и гордо оглядывает вагон.

Электричка тормозит, двери распахиваются. Я высовываюсь из этих дверей, вижу маленькую станцию с высокой платформой и занесенными снегом домиками, и опять в который уже раз я не вижу свой поезд номер двести тридцать шесть. И тогда меня охватывает отчаяние. Руки и ноги слабеют, я плетусь обратно в вагон, сажусь на свое место и слышу, как колеса опять начинают выстукивать. «Вот это да, вот это да» – выстукивают теперь колеса, или это так стучит мое сердце.

– Нет, ты подумай, – сюсюкает бабушка у окна, – без окон, без дверей полна горница людей?

Внучка смотрит на меня круглыми противными глазами.

– Грузовик, – шепчу я.

– Грузовик, – повторяет девочка.

– Не грузовик, а огурец, – кричу я на весь вагон и вскакиваю. – Дура! Э‑э‑э‑э‑э! – Я показываю ей и бабушке язык. – Дура! Дура!

Я плачу и бегу через весь вагон к противоположным дверям.

– Сама грузовик…

Электричка тормозит. Двери распахиваются. Я плачу и, задыхаясь от слез, выскакиваю на перрон. Электричка взвизгивает, срывается с места, я еще раз вижу, как мелькает в окне вытаращенная бабушка. Меня обдает колючим холодным снегом. Я остаюсь один, и уши мои закладывает тишина. Платформа засыпана только что выпавшим снегом, на котором нет следов.

– Дура! – еще раз ору я вслед электричке и, задыхаясь от слез, что есть силы бегу к торчащей из‑за высоких сугробов станции, название которой я еще не умею прочитать.

Я бегу прямо к кассе, встаю на цыпочки и кричу в освещенное изнутри окошечко:

– Скажите, пожалуйста, у вас нельзя купить билет?! На поезд, который едет в Кавказские горы?

В окошке тишина.

– Скажите, пожалуйста, – опять начинаю я.

– Кто это говорит, кто? – раздается вдруг из кассы громкий и радостный голос. Такого голоса я никак не ожидал. – Я тебя не вижу…

– Вот же я, здесь… – кричу я, – у кассы… – и пытаюсь подпрыгнуть для того, чтобы меня увидели в окошечко.

– Отойди на пять шагов, – опять кричит радостный голос, – нет, не надо отходить. Стой на месте, я сейчас сама выйду.

– Но знаете, у меня пока нет денег… – кричу я, обрадованный, что мне так рады. – Но я могу продать свой бинокль и еще что‑нибудь.

Я высоко поднимаю над головой бинокль, чтобы его видели в окошечко. В ту же секунду оттуда появляется рука в каких‑то кружевах и хватает бинокль.

– И шапку давай, – кричит голос из кассы. – И пальто.

Моя шапка и клетчатое пальто протискиваются и исчезают в узком окошечке кассы.

– А теперь стой на месте, – кричат мне из окошечка, – и не шевелись, а я побежала за билетом.

Обитая железом дверца в конце коридорчика открывается, оттуда выскакивает румяная тетенька в платье с кружевами, в огромных валенках и подбегает ко мне.

– Какой же ты хорошенький, – вдруг хохочет она, – прямо яблочко. Может, ты пока в кассе посидишь, яблочко?

– Нет уж, – отвечаю я. – А что это, печка?

В углу стоит круглая печка серебряного цвета. И через дырочки на дверце видно, что там полыхает огонь. Тетенька хватает деревянную скамью, согнувшись, волочет ее к печке, усаживает меня и выбегает на улицу, только дверь бухает.

На другой скамейке спит, обняв лыжи, лыжник, и больше здесь никого нет. У моих ног стоит здоровенное обмерзшее снегом ведро с углем. От печки тянет жаром, пахнет краской. Радио играет веселую песню, совпадающую с тем, что я еду в Кавказские горы. Только в песне поется про северные края, а я еду в южные. «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром рано…» – поет радио, и огонь в дырочках печной дверцы подмигивает в такт музыке.

Я перевожу взгляд и вдруг вижу рядом со своим ботинком большой черный сапог в блестящей калоше. На калоше играет отсвет огня, и с нее на каменный пол капают капли. Кап, капает капля, кап – другая. Я поднимаю голову, уже зная, что я увижу. Рядом со мной на скамейке сидит милиционер. Я сразу же отвожу глаза. Мы оба молчим и смотрим на огонь в дырочках печки. Я еще надеюсь, что он пришел сюда просто так, погреться. Но первый не выдерживаю напряжения и начинаю покашливать. Милиционер тоже кашляет в ответ, прикрыв рот рукой. Я снова кашляю, и милиционер тоже кашляет. Я кашляю в том смысле, что я сижу и сижу. Ожидаю билета, и все. А он кашляет в том, наверное, смысле, что откуда я взялся и почему я без родителей.

– Вообще‑то ты, Борис, ни в чем не виноват, – вдруг говорит милиционер, глядя на огонь, и покашливает. – Ребенок не чемодан, чтобы стоять, где его поставили, елки‑моталки. Верно?

Я беззвучно киваю головой, потрясенный тем, что и он знает меня по имени, сползаю со скамейки и отхожу. Окошечко кассы открыто. Как же я не заметил, что кассирша вернулась, но я не подхожу к окошечку, а бегу к железной дверце и стучу в нее.

– Это я, – шепотом кричу я в щелочку. – Вы у меня купили пальто, шапку и бинокль. Дайте мне, пожалуйста, билет, а то мне очень некогда.

Зачем, зачем милиционер встал и смотрит на меня? Чего ему от меня надо?..

– Это ты, яблочко? – железная дверь крякает, открывается, в ней появляется румяная кассирша в кружевном платье, а в руке у нее мое клетчатое пальто. Позади нее дребезжит электрический чайник, и во мне тоже что‑то начинает дребезжать. Сзади подходит милиционер и садится рядом со мной на корточки.

– Нет, – я начинаю понимать ужасный обман и трясу головой.

– Да, – говорит милиционер.

– Дайте мне мой билет, – говорю я кассирше, губы у меня дрожат, я пытаюсь их остановить, но они все равно дрожат, – вы же обещали билет… Дайте мне, пожалуйста, мой билет… У меня секретное донесение… Мне очень нужно… Вы обещали… Вы врунья…

– Ну посуди сам, – румяная кассирша протягивает мне мое клетчатое пальто, – как же ты поедешь один… Дорога такая дальняя, ты только подумай!

Я отталкиваю пальто, проскакиваю под рукой милиционера, выскакиваю на улицу, натыкаюсь на какую‑то бочку, поворачиваюсь и мчусь по узкой, расчищенной в глубоком снегу, почему‑то черной тропинке. За мной бегут милиционер и кассирша, впереди, вытянув шею и помогая себе крыльями, несется перепуганный пестрый петух.

– Стой! – кричит голос милиционера. – Остановись!

– Осторожно‑о‑а‑а‑а! – вдруг отчаянным женским голосом кричит петух и стрелой взлетает в покрытое снежными сугробами и кустами небо. А я лечу, качусь вниз. И наступает тьма. Потом мне на лицо падает что‑то белое, и я умираю.

Я не умер. Просто я упал в яму, в которой хранили уголь для той печки, у которой я сидел.

Судьба играет человеком, она изменчива всегда.

Утром до снегопада весь город был разноцветный, белый, желтый, даже красный. Сейчас весь город белый. По улице трюхает тяжелый областной грузовик. Он тащит на прицепе другой грузовик, побывавший в дорожном происшествии, разбитый, без стекол и фар. Мы едем в кабине первого грузовика. Мы – это шофер‑водитель, товарищ постовой милиционер со станции Ручьи и я. Передо мной трясется желтый капот, два зеркальца на крыльях. Под капот уползает улица со снегом. Мы молчим. Судьба играет не только человеком, но даже грузовиком. Еще сегодня утром грузовик, который мы везем на прицепе, выехал из своего гаража, взял груз и весело помчался по дороге. А я весело собирался в Далекие Кавказские горы.

– Как вы думаете, его будут чинить или разломают на железо? – это только кажется, что я спрашиваю про грузовик. Я думаю, что будет со мной.

– Надо бы разломать, – товарищ постовой милиционер не любит меня, хотя я ни в чем не виноват, – чем чинить, дешевле новый сделать.

Некоторое время мы молчим.

– Но ведь его еще можно починить… – говорю я в том смысле, что и я могу исправиться, – и все еще может быть хорошо. Или не может быть?!

– Да нет. Не имеет, наверное, смысла.

Шофер‑водитель достает пачку папирос. На них изображены белые Кавказские горы под самое небо. И среди этих гор скачет одинокий всадник на вороном коне. Я не хочу смотреть на эти папиросы и отворачиваюсь.

– Его еще можно исправить, – волнуясь, опять начинаю я. В зеркальце видно, как грузовик покорно кивает мне разбитыми фарами. – Ему нужно просто вставить фары… и стекла… и покрасить в желтый цвет.

– Приехали! Станция Вылезайка! – шофер‑водитель нажимает на тормоза. – Будь здоров и не кашляй!

Товарищ милиционер первым вылезает из кабины, ставит меня на снег. Дверца за моей спиной грохает, огромное черное колесо проезжает мимо моего лица, потом разбитая фара, еще черные колеса, и все. Мы действительно приехали, и я стою на нашей улице, по которой совсем недавно, всего несколько часов назад, я уезжал в машине такси. Ничего не изменилось на нашей улице. Как было, так и осталось. Только снегу подвалило, и шрам в сугробе почти стерся. Хотя, если вглядеться, можно увидеть и шрам. Милиционер берет меня за руку, я поднимаю воротник своего клетчатого пальто, может быть, меня так не узнают знакомые, втягиваю голову в плечи, и мы быстро идем по тротуару к нашей белой кафельной подворотне. Только бы никого не встретить. Только бы никого не встретить.

– Что случилось? Ты что натворил? Что у тебя с головой? – из парадной, которая выходит на улицу, ко мне навстречу бежит наша почтальонша тетя Настя.

– Тетя Настя, – вдруг почему‑то кричу я, ноги сами несут меня к ней, я обнимаю ее и ее сумку с газетами, – они меня бросили на вокзале… сами сели в поезд и уехали… и мне ничего не сказали… Я бегал, я их искал… Я на поезде ехал. Я в угольную яму упал… У меня вся голова разбита… если я не нужен… если я не нужен, я могу в детский дом уйти, там дети нужны, мне говорили…

Тетя Настя растерянно гладит меня по шапке, по бинту. От газет пахнет краской, и от жалости к себе я начинаю рыдать.

– А я тебе журнал несу, – вдруг радостно кричит тетя Настя, – и «Вечерку»… и письмо, может быть, от папы… – она садится на корточки, начинает заталкивать мне в карман письмо и журнал.

– Боба, Бобинька! – из нашей подворотни на улицу вылетает моя мама в шлепанцах и пальто нараспашку. – Бобинька, мальчик мой!

Теперь мы рыдаем все втроем.

– Мне позвонили, позвонили, – кричит мама, – мне позвонили! Что у тебя с головой? Боже, какое счастье! Боже, какое счастье!..

– Я вас искал, искал, – рыдаю я, – я бегал… я на юг ехал… я в яму упал… У меня вся голова разбита…

– Мне позвонили, позвонили… Спасибо вам, товарищ милиционер! Мне позвонили, позвонили…

Мама вдруг поднимает меня на плечо и быстро, почти бегом, несет меня в нашу белую подворотню. А тетя Настя и милиционер бегут следом.

– Сумасшедшая, сумасшедшая! – кричит тетя Настя и еще что‑то и смеется. И милиционер смеется тоже. Надо мною близко каменный свод нашей белой подворотни с электрической лампочкой. Милая, милая подворотня!

– Бобку несут! Бобка вернулся!

Все наши сидят с ногами на утопленной в снегу скамейке у катка и потрясенно смотрят на меня. А некоторые встают.

– Я вернулся, – кричу я с маминого плеча. – Я в электричке ехал! У меня вся голова разбита! Я с ученым профессором Капицей познакомился! Он ко мне в гости придет! Я вас всех приглашаю!

Стоп! Я застываю с открытым ртом. На Толяне‑Обезьяне… На Толяне‑Обезьяне из‑под пальто совершенно ясно видны… и спутать этого нельзя… На Толяне‑Обезьяне красные, красные, красные английские штаны с клетчатыми пуговицами! Такие же, как у меня! Ну точно такие же! Только ботинки у нас разные!

– А‑а‑а‑а! – начинаю я. Дверь нашей парадной распахивается и захлопывается.

– Нашелся?

– Нашелся, нашелся…

– Ну, слава богу!

Двери на всей нашей лестнице открываются, и все рады, что я нашелся. Наш дом старый, даже старинный, и в окнах на лестнице еще сохранились кое‑где цветные стекла. Солнце светит в эти цветные стекла, и вся лестница из‑за этого пестрая. И пылинки в воздухе тоже пестрые. Мама устает меня нести, мы садимся на подоконник и громко дышим, может быть, от усталости, а может быть, от счастья.

– Тебе же письмо, – задыхаюсь я, – у меня в кармане. Мне журнал, а тебе письмо…

– Потом, потом, – задыхается мама и машет на письмо рукой. – Ой, я туфлю потеряла и не заметила, ищи, Бобка, мою туфлю.

Я бегу вниз по лестнице и между ярких дрожащих бликов разного цвета нахожу мамину ночную туфлю с помпоном. Во дворе бухают дверцы машины, я выглядываю в окно и вижу, как из такси во дворе из передней дверцы вылезает тетя Марина, потом задние дверцы одновременно открываются и из них вылезают оба товарища Чистовича. Шофер‑водитель быстро бежит к багажнику, багажник открывается, и из него начинают появляться чемоданы и мой рюкзак военно‑спортивного типа, и торты, и телевизоры, и даже медовая коврижка, которую так любит мой папа старший лейтенант Иванов.

– Мама! – кричу я. – Мама! – и мчусь наверх. – Товарищи Чистовичи приехали. То есть они не приехали, они вернулись. Куда же ты смотришь? Посмотри скорей в окно.

– Дорогая моя мама!.. – читает мне мама в ответ.

И я сразу понимаю, что она читает.

– … Я еду и еду, и сколько только еще буду ехать. И все на юг, на юг. Ехать очень весело. Я без тебя не скучаю, и ты не скучай. А лучше пей чай. Твой сын Бобка Иванов.

Некоторое время мы с удивлением смотрим друг на друга.

– Очень, очень глупое письмо, – медленно говорит мама.

– Наоборот, очень умное, – мне не по себе, и поэтому я грублю.

– Очень, очень глупое, жестокое письмо… – губы у мамы начинают дрожать, голос у мамы срывается и пищит, – написанное очень глупым и жестоким мальчиком. – Мама забирает у меня туфлю и с туфлей в руке идет вверх по лестнице.

– Я хотела отпроситься в институте и сама отвезти тебя к папе, – говорит она не оборачиваясь, – а теперь не буду, и это мое слово крепче железа. Как ты, так и я. Так что пей чай сам.

Из нашего большого зеркала на меня неподвижно смотрит коротко стриженный мальчик в белой ночной сорочке с замазанным зеленкой ухом. Мальчик с замазанным ухом – это я. Босиком на полу холодно. Я подбегаю к дверям и отворяю их. На кухне звенит посуда. Там ужинают, и на стене и потолке коридора возникают ломаные тени. Вот мамина тень прошла. Наверное, мама принесла заварной чайник. А вот тень товарища Чистовича. Она короткая и широкая. И машет руками. А может быть, все наоборот. Кто их разберет, тени через стекло. Двери на кухне отворяются. Это тетя Клава несет мне жареный пирожок, из тех, что нам делали на дорогу.

– Вся голова разбита, вся голова разбита, – ворчит тетя Клава.

– Здоровенная была рана, но заросла, – я залезаю под одеяло, – и зря вы мне не верите. Честное слово. Вот здесь была, видите, такая ложбинка. Просто на детях все быстро заживает.

– Ну и врун же ты, Бобка, – говорит тетя Клава, и я на нее не обижаюсь. – И задал же ты всем жару. До сих пор руки трясутся, – тетя Клава вытягивает вперед руку с пирожком и садится ко мне на кровать.

– Знаешь, не было у меня детей, и не надо!

Мы немного молчим.

– На три дня жарила вам пирожков, а слопали в один вечер.

– Давайте споем, тетя Клава, – предлагаю я.

– Опять про пожар?

– Нет. Можно какую‑нибудь другую.

– Ну давай, только тихонечко.

В доме напротив горят окна, и небо над ними черное. Где‑то высоко над ними в этом черном небе летит самолет. В этом самолете – летчик. Может быть, этот летчик думает сейчас про нас. А я про него.

В чистом небе месяц ясный

Легкой лодочкой плывет, –

тихо поет тетя Клава, а я ей подпеваю:

Это что такое с сердцем,

То забьется, то замрет.

Мне снится сон. Мне снится, будто мы с мамой плывем по реке Мойке на корабле ЛВПуть с большой трубой. Мама стоит у руля, я сижу на корме, болтаю ногами и ем ягоды.

– Мама, – говорю я, потрясенный вдруг внезапной догадкой. – А ведь я знаю, кто ты на самом деле.

– Верно, – улыбается мама, – какой же ты догадливый, Бобка.

– Мама, – от волнения у меня перехватывает горло, – но ведь если ты Василиса Прекрасная, значит, я Иван‑царевич?

– Да, – тихо кивает мне мама и прикладывает палец к губам, – но об этом никому не надо говорить, потому что это будет нескромно.

Я жую спелые ягоды и улыбаюсь от счастья, потому что я Иван‑царевич.

Наш пароход ЛВПуть тихо отрывается от журчащей воды и летит сначала над мостом, а потом над городом. И прохожие прощально машут ему руками. Светлые капли воды срываются с него и превращаются в снежинки. И теперь я понимаю, что снег, который идет сейчас, может, на всей земле, кроме самого юга, идет не из туч, а из нашего с мамой парохода. Пароход начинает гудеть, но это, наверное, гудит уже не пароход, а наш тепловоз.

Я просыпаюсь и некоторое время не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Все в купе спят, и мама, и товарищи Чистовичи на верхних полках. И ничего про меня не знают. Я же знаю, откуда берется снег, а главное, что я – Иван‑царевич. Но об этом нескромно говорить.

Колеса по‑прежнему скребутся под полом, будто просятся к нам в купе. Вагон поскрипывает и покачивается. Я хочу встать для того, чтобы отдернуть шторы и посмотреть в окно на идущий снег. Я ведь знаю, что он должен идти. Но в это время что‑то звенит и падает. Это падает со стола подстаканник, который почему‑то привязан бинтиком к моей ноге. Мама сразу садится на своем диване напротив и испуганно смотрит на меня.

– Тебе что? Тебе надо? – спрашивает мама.

– Нет. А почему у меня бинтик на ноге?

– Поезд идет очень быстро. Мало ли что… – смущается мама, – давай спать, Бобка!

Я перелезаю к ней, некоторое время мы оба лежим и слушаем колеса, которые скребутся под полом. Я напрягаю все свои мускулы, потому что мне кажется, что если их еще чуть‑чуть напрячь, то я взлечу.

– Е‑е‑ду‑у‑у‑у! – кричит впереди нашего состава тепловоз. – Ви‑и‑и‑жу‑у‑у!..

– Мама, – тихо говорю я, – отдерни, пожалуйста, штору. Вдруг мы подъезжаем.

– Мне тоже кажется, – соглашается мама, – ведь проводник уже старенький, и он мог забыть, сколько времени ехать до Кавказских гор.

Она подходит к окну и отдергивает штору. И сразу же что‑то тугое бьет меня в грудь и рот. Так, что я не могу вздохнуть, я поднимаюсь и сажусь на своем диване. Потому что за нашим окном плещется прекрасное и огромное Черное море. Я не могу сказать, почему оно прекрасное, но оно прекраснее всего, что я когда‑нибудь видел. А на самом берегу Черного моря сидят огромные пестрые собаки и лают.

– Но это же море, мама? – спрашиваю я. – А где же Кавказские горы?

– А теперь смотри, смотри, Бобка, – смеется мама, – сейчас будут возникать Кавказские горы… «Вон на Севере в тумане что‑то видно, брат». – Мама хватает подстаканник с бинтиком и вдруг бьет им в оконное стекло. Стекло медленно опадает, теплый ветер врывается в наше купе, и я вижу, как в тумане возникают Далекие Кавказские горы, которые еще прекраснее, чем Черное море. И среди этих Далеких Кавказских гор все ближе и ближе к нам мчится одинокий всадник в бурке и на вороном коне. И я понимаю, что это мой папа.

Бобка Иванов шести лет спит на нижней полке скорого поезда. Нога у Бобки привязана к подстаканнику, и лицо у него во сне сурово. Поезд идет ледяной степью. Светает. Где‑то далеко, на самом краю степи, поднимаются и тают в воздухе Далекие Кавказские горы…

И возникает надпись – КОНЕЦ.